

# ГРИГОРИЙ ФЕДОСЕЕВ

СИБИРИАДА

Злой  
дух  
Ямбуря



Сибириада

Григорий Федосеев

**Злой дух Ямбуя (сборник)**

«ВЕЧЕ»

1983, 1981

## **Федосеев Г. А.**

Злой дух Ямбуя (сборник) / Г. А. Федосеев — «ВЕЧЕ»,  
1983, 1981 — (Сибириада)

ISBN 978-5-4444-8457-9

Повесть «Злой дух Ямбуя» замечательного русского писателя и путешественника Григория Анисимовича Федосеева (1899–1968) рассказывает о событиях, произошедших в конце 1940-х годов в малодоступных районах Восточной Сибири. Во время геодезических исследований в экспедиции один за другим исчезают три человека. План экспедиции под угрозой срыва. Коллеги отправляются на поиски пропавших. Все исчезновения происходили неподалеку от горы Ямбуи. Через некоторое время герои встречаются с племенем эвенков, где им рассказывают всяческие истории про Ямбуи и бродящего там злого духа. От местных жителей также становится известно, что, кроме геодезистов, ранее пропали два эвенка. Рискуюя собой, пожилой охотник-эвенк и главный герой повести выслеживают и убивают «злого духа», которым оказался матерый медведь-людоед. Повесть «Последний костер» посвящена другу писателя, его бессменному проводнику во многих экспедициях, Улукиткану, который погиб во время пожара на одной из стоянок, спасая людей.

ISBN 978-5-4444-8457-9

© Федосеев Г. А., 1983, 1981

© ВЕЧЕ, 1983, 1981

## Содержание

Злой дух Ямбуя	6
Глава первая. Назад к Ямбую	6
Глава вторая. Битык вызывает на поединок	16
Глава третья. Эвенкийский закон долголетия	26
Глава четвертая. Тревоги пастушки Лангары	37
Глава пятая. Тропою кочевников	46
Глава шестая. Загря	57
Глава седьмая. Дух амакана на стойбище	66
Глава восьмая. Его звали Куйки	73
Глава девятая. Таинственный Ямбуй	78
Конец ознакомительного фрагмента.	80

# **Григорий Федосеев**

## **Злой дух Ямбуя (сборник)**

© Федосеев Г.А., наследники, 2016

© ООО «Издательство «Вече», 2016

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2015

\* \* \*

## Злой дух Ямбуя

*Наша цель – внушить молодежи любовь и веру в жизнь. Мы хотим научить людей героизму. Нужно, чтобы человек понял, что он творец и господин мира, что на нем лежит ответственность за все несчастья на земле и ему же принадлежит слава за все доброе, что есть в жизни.*

*М. Горький*

### Глава первая. Назад к Ямбую

На перевале караван задержался. Каюры стали поправлять вьюки на спинах уставших оленей. Люди сгруппировались. Вынули кисеты, закурили. Солнце, словно огненный бубен, повисло над темными падами, над стальными выкряями озер, над зубчатыми грядами далекого Станового.

Еще один день пути до нашего таежного аэродрома, и прощай, кочевая жизнь, комары, тишина топких болот!

Кому из путешественников не знакомо чувство радости, когда, закончив работу, вдоволь наглотавшись хвойного воздуха, приправленного дымком костров, истоптав по звериным тропам не одну пару сапог, ты возвращаешься в тесный людской мир, к родному очагу. И при мысли о доме тебе вдруг захочется не у костра, а иным теплом согреть загрубевшую в долгих походах душу.

Мы покидаем центральную часть Алданского нагорья, где долго занимались исследованиями и где еще продолжают работу геодезисты. Эту всхолмленную страну на юге урезают хребты Становой и Джугджур, а на севере она уходит в беспредельность. Пейзаж ее суров, климат чрезвычайно негостеприимен – зима тут владычица; и куда бы ты ни направился, тебя всюду подстерегает одиночество, ужасное одиночество!

Этот край никогда не манил к себе людей, не возбуждал любопытства исследователя, оставался в стороне от цивилизации. Только эвенк, дикий кочевник, свободолюбец, нашел тут себе приют и проложил тропу в глубь безмолвных пустырей.

И вот я в последний раз смотрю с возвышенности на суровое нагорье. Далеко раскинулась холмистая земля, покрытая зыбунами, чахлыми листовницами, бельмоватыми озерами. Наконец-то мы вырвались из этого длительного плена! Но почему-то я не радуюсь, почему-то мне грустно, будто я покидаю родные места. Вдруг все вокруг стало мне необыкновенно дорого: и это серое, выцветшее небо, и лысые бугры, и застывшие в вечном поклоне ели, и голодный беркут... Видимо, потому, что все тут трудно давалось. Пройдет немного времени, и там, среди городской суеты, в кругу друзей я буду тосковать по тебе, печальный край, и, может быть, когда-нибудь к тебе вернусь...

– Прощай, нагорье! – кричу я, окидывая его долгим взглядом.

Ночевать остановились у шумливого ручья, на дне залесенного распадка. Мы шли одним смешанным караваном, но лагеря ставили отдельно. У каждого подразделения – астрономов, рекогносцировщиков, наблюдателей свои порядки, свои привычки, выработанные в долгих скитаниях по тайге. Те, кто провел все лето в лесу, раскинули палатки в тени под елями. У них самый большой и жаркий костер. Наблюдатели, прожившие на вершинах гор, привыкли к простору, к открытому горизонту, привыкли видеть над собою обширный купол неба. Им тесно под сводом крон, они поставили двускатные «чумы» на середине поляны. У них на каменных вершинах всегда не хватало дров, их они доставляли на пики на своем

горбу, и их главная заповедь – бережливое отношение к огню. Они и здесь, в лесу, варили свой немудрящий ужин на маленьком костерке, подкармливаемом мелким сушняком.

Я ночевал с рекогносцировщиками – неутомимыми таежными бродягами. Им чуждо уныние. Ну и ребята! Шутки да прибаутки, и боже упаси попасть им на язык! Лес, горы, болота – все оставило свой отпечаток и на их внешности и на быте. Их лагерь узнаешь с первого взгляда. Посуда, сбруя, одежда аккуратно развешаны на колышках, вбитых в стволы толстых деревьев; груз по-хозяйски сложен горкой, покрыт брезентом. Спят они обычно у огня. И не зря рекогносцировщикам все завидуют. Правда, одежда на них, как у всех нас, в латках, со следами костров, сапоги доживают последние дни. Но сколько жизнерадостности в каждом из этих таежных скитальцев! Какой опыт! Риск, трудности – их постоянные спутники.

Когда на поляну легла прохлада и густой лиловый сумрак позднего вечера окутал тайгу, к нам на стоянку пришли товарищи из соседних таборов. Они не спеша рассаживались вокруг костра и молча следили, как огонь пожирал головешки, как под грудями расплавившихся углей вспыхивало и потухало синее пламя, будто каждый из них видел в этой синеве какое-то знамение. В их молчании чувствовалась нескрываемая радость возвращения. В своих думах они витали где-то далеко-далеко от костров, от корявых лиственниц, от комариного гула. И вряд ли какая сила заставила бы их повернуть назад, расстаться с мыслью о скором свидании с родными.

В уснувшем осеннем лесу позванивали бубенцы на шеях пасущихся оленей, в неподвижном воздухе шныряли пучеглазые совы.

Ко мне подошел развалистой походкой радист Павел, рослый, голубоглазый парень. Мы вместе с ним провели в тайге все лето.

– Неприятность, – сказал он тревожным голосом.

– Что, самолета не будет завтра?

– Хуже. Вот читайте. – И Павел подал только что принятую радиограмму.

Мой помощник по экспедиции Плоткин сообщал:

«На гольце Ямбуя бесследно исчез техник Евтушенко. Поиски ничего не дали. (Это второй геодезист, бесследно исчезнувший на гольце.) Необходимо организовать тщательные поиски пропавших и устранить причины гибели людей, иначе наблюдатели категорически отказываются заканчивать работу на Ямбуе. Что делать?»

Меня это известие ошеломило. Читаю радиограмму вслух. На стоянке наступила тягостная тишина. Слабые вспышки догорающих головешек освещали лица людей, застывших в самых неожиданных позах.

Мы еще не пришли в себя от загадочного исчезновения нашего друга Петрика, вызвавшего много самых разноречивых толков.

Строительное подразделение, в котором он работал техником, закончило постройку геодезического знака на гольце Ямбуя. Это было весной, после снеготаяния. Петрик и один рабочий остались на вершине, чтобы снять опалубку с бетонного тура и оштукатурить его. Остальные, нагрузившись оборудованием, спустились на табор к реке Реканде. Проснувшись рано утром, рабочий не нашел на вершине Петрика. Решив, что тот спустился к своим, он закончил отделку тура и тоже покинул вершину. Но Петрика не оказалось и на таборе. Ждали день, второй, затем обшарили всю равнину с ее марями и озерами, но Петрик исчез, как испарился! Поиски дважды повторили летом. И до сих пор понять не можем, что случилось с ним! И вот теперь там же исчез Евтушенко...

Черное небо прочертила зарница, и далеко, точно в пустую бочку, ударил гром. Кто-то бросил в костер охапку сушняка. Вспыхнувшее пламя разбудило тишину, и, будто очнувшись, все сразу заговорили, заспорили.

Одни считали, что Петрик и Евтушенко, спустившись с гольца за дровами или за водою, заблудились в лесу из-за тумана, который часто и надолго приходит к нагорью с Охотского моря, и погибли от голода. Другие не соглашались с этим, ведь оба пропавшие опытные таежники, и уверяли, что и Петрик и Евтушенко живы, что им просто осточертели пустыри, гнус, безмолвие, заплесневелые болота и их потянуло к обжитым местам, к людям, к девочкам. И они, не преодолев гнетущего состояния, бежали на плоту по Реканде, в спешке не попрощавшись с товарищами и не получив расчета. Но сбежать отсюда в одиночку мог только сумасшедший.

Тогда что же в действительности произошло на Ямбуе? Надо было немедленно принять какое-то решение, попытаться проникнуть в тайну исчезновения с гольца двух геодезистов.

И, вероятно, никому другому, а именно мне, как начальнику экспедиции, придется распрощаться со своими спутниками, расстаться с мыслями о возвращении домой и повернуть обратно к Ямбуу. Надо торопиться – может, еще удастся спасти Евтушенко. И при любых обстоятельствах закончить работу на этом далеком гольце, иначе на следующий год вновь придется вернуться сюда. Но об этом нельзя даже и думать.

При мысли, что надо повернуть назад в пустыри, до боли сжалось сердце, еще больше захотелось к тихой, домашней пристани, где нет опасного риска, где жизнь размеренна, спокойна. Я вдруг поверил, что и Петрик и Евтушенко не погибли, а сбежали: от мрачного состояния, в какое повергает человека нагорье при длительном общении с ним, не то что к людям – к дьяволу в пекло сбежишь!

– Павел! – решительно сказал я радисту. – Завтра утром мы с тобою пойдем к Ямбуу.

– Назад? – спросил он хрипло, чуточку попятившись от меня.

– Да, назад. Неси журнал, запишешь радиограмму.

Павел смотрел на меня, все еще не веря, что нормальный человек может добровольно отказаться от возвращения домой.

– Да вы что, в самом деле?.. Или шутите? – выпалил он срывающимся голосом.

– Неси журнал!

Нет, Павел явно не верит, продолжает стоять, ища глазами сочувствия у присутствующих. Потом нехотя приносит журнал.

– Садись поближе и пиши: *«Штаб. Плоткину»*.

Завтра иду с радистом и проводником к Ямбуу. Передайте приказ всем подразделениям на Ямбуйском объекте принять необходимые меры безопасности и при любых обстоятельствах продолжать работу. Поиски Евтушенко не прекращать».

Написал?.. Сейчас же передай и проси штаб явиться утром.

Павел встал, посмотрел на меня с безнадежностью и, неловко переставляя отяжелевшие ноги, поплелся к себе в палатку.

Тяжелый мрак лег на уснувшую землю. Костер догорел. Люди разошлись по таборам. В лесу смолкли бубенцы. Потускнело небо. Из его темной бездны повеяло дыханием ночи. Отражаясь в зеркальной глубине заливчика, мерцал тлеющим угольком Юпитер.

Забираюсь в спальный мешок. Нет, сегодня мне не уснуть. Что и говорить, обидно расставаться с мыслями о близком свидании с родными, друзьями, снова возвращаться в безлюдное царство болот, в глушь тайги, мерить латаными сапогами зыбуны и снова шагать и шагать без конца...

Долго ворочаюсь, не могу уснуть. А без сна не легко будет справиться с завтрашним днем. Ведь сон в походе – и лекарь и диспетчер. За ночь он успокоит нервы, смягчит горечь неудач и облегчит путь. Медленно погружаюсь в пустоту, и, наконец, сон одолевает меня.

Лагерь пробудился рано, только занималась утренняя зорька. Вспыхнули костры, пахнуло варевом. Вечер качнул сонную, слегка заиндеветшую тайгу. Стая казарок, расклинивая небесную синеву, беззвучно, будто тайком, пронеслась на юг.

Проводники собрались у нашего костра. Они молча выслушали меня, перекинулись короткими фразами. На их лицах не отразилось ни удивления, ни страха, они привыкли ко всяким неожиданностям в тайге.

Нам предстояло из шести наших проводников-эвенков отобрать одного, самого опытного.

– Кто из вас хорошо знает южный край Алданского нагорья и может нас сопровождать? – обратился я к ним.

Все повернулись к маленькому старичку, стоявшему позади остальных, прислонившись к лиственнице. Наши с ним взгляды встретились.

– Ты, что ли, Долбачи, возьмешься?

– Он, он, другого лучше не найдешь, – подтвердил старший из проводников.

– Сможешь провести нас напрямик к гольцу?

Губы старика скривились в усмешке.

– Почему спрашиваешь? Разве не видел: эвенк в тайге тропу знает, никогда не блудит.

– Тогда собирайся.

Долбачи неопределенно пожал плечами.

– Не хочешь идти? Домой спешишь? – спросил я.

– Ходить можно, да беда, у меня чай кончился... Без него никуда не пойду. Два плитки давай – прямо Ямбуй приведу. – И он кривым пальцем показал на восток.

– Чай у меня тоже кончился, но я раздобуду у ребят.

– Обязательно доставай, без чая голова болит, большой дорога ходить не могу.

Проводники разошлись, а Долбачи продолжал стоять под лиственницей, пока я не принес ему обещанный чай. Он бережно положил плитки за пазуху, ушел собираться.

Эвенки заядлые чаевники. Они умеют мастерски готовить этот напиток и пьют его с величайшим наслаждением, но только свежезаваренным. Без чая им и свет не мил! Любой из наших проводников не пожалеет ни времени, ни оленей, чтобы поехать к далекому другу и выпить с ним кружку крепкого чая.

С опытным проводником нам не страшно ничто: ни броды через бурные реки, ни завалы, ни сплошная тайга, ни перевалы. У проводников-эвенков в голове своя карта, идут они по ней, не сбиваясь с пути, каким-то особым чутьем угадывая опасность. Да и олени у таких проводников не сдадут в пути, не натрут спины выюками, придут к месту неослабленными.

Мы с Павлом отбираем из своего имущества только самое необходимое для похода: рацию, палатку, тент, спальные мешки, посуду и десятидневный запас продуктов. При быстром передвижении олени не должны нести на своих спинах более двадцати килограммов груза.

Из-за темных вершин ельника брызжет багряный свет утра. Лагерь приходит в движение: люди снимают палатки, свертывают постели, готовят выюки. Каюры сгоняют к таборам отдохнувших за ночь оленей. Поляна наполняется оживленным говором.

...Погасли костры. В одну длинную шеренгу выстроился караван почти в сто оленей. Мы прощаемся с товарищами. С завистью смотрим, как уходят они на запад. Впереди идут рекогносцировщики. За ними заросшие бородами астрономы со своими тяжеленными универсалами, которые бережно везут два оленя в специальных носилках, прикрепленных к их спинам. След астрономов притаптывают молчаливые наблюдатели – пожалуй, самые трудолюбивые из геодезистов. Шествие замыкает пестрая стая собак.

Уходящие долго машут нам руками, что-то ободряюще кричат до тех пор, пока всю эту шумную ватагу не проглатывают корявые дебри лиственничной тайги. Скоро смолкли и шорохи большого каравана.

– А где же Загря? – спохватываюсь я, не заметив на таборе своей собаки.

– Никуда не денется, прибежит, – неласково, с досадой бросает Павел.

И действительно, из просвета, где только что исчез караван, вырывается Загря. Длинные прыжками он сокращает между нами расстояние и со всего разбега насккивает на меня. Затем, усевшись на задние лапы, пристально смотрит на запад, откуда еще доносится затихающий говор людей.

Как он великолепен, Загря! Почти весь светло-серый, с чуть заметной темной остью на спине, и только чулки на передних ногах белые в крапинках. Тело гибкое, ноги сильные, пружинистые, не знающие усталости. Пушистый хвост всегда кольцом заброшен на спину. Он даже в схватке со зверем и в драке с собаками редко когда опускает его. А клыки! Кобель ими не кусает, а рвет по-волчьи, и раны от них у противника долго не заживают. Но по натуре Загря самое добродушное и преданное существо. Вот уже два года как мы с ним неразлучны в тайге.

Приседаю к нему, поворачиваю его морду к себе, говорю:

– Послушай, Загря, мы должны вернуться и идти к Ямбую, там люди пропали, и их надо найти, понимаешь, н-а-й-т-и!..

Загря вырывается, бросается вдогонку за караваном – неохота ему отстать от веселой собачьей компании, но привязанность ко мне заставляет вернуться.

Пора и нам собираться.

У Павла недовольный вид.

– Ну чего загрустил? – говорю я. – Потерпи немного, скоро и мы будем дома.

– Я договорился со Светланой, она придет завтра на аэродром встречать. Ребята подшучивать начнут, еще обидится. И надо же такому случиться!..

– Сильнее соскучишься – милее будет...

Связывая потки<sup>1</sup> и не отвечая, он с досады так натянул ремень, что тот лопнул.

Я рассмеялся.

– Это все от ваших разговоров, – упрекнул он и, повернувшись ко мне, хотел еще что-то сказать, но только безнадежно махнул рукой.

Павел, по натуре человек молчаливый и добродушный, безропотно переносит трудности полевика. На этого парня можно положиться. Он опытный таежник, удивительно вынослив, обладает той безмятежной уверенностью, что делает людей сильными. Его выгоревшая на солнце и чуть рыжеватая бородка оттеняет густой загар лица. По нему краснели свежие и давнишние бугорки комариных укусов.

Наконец-то и мы готовы покинуть ночной приют. Наш путь лежит на юго-восток. Где-то там, за далекими синими сопками, за далью лесов, вздымается дикий голец – таинственный Ямбуй.

Долбачи идет с нами впервые. Мы не знаем друг друга. И мне хочется с первого дня подружиться с ним, я и стараюсь во всем угождать ему. Это человек лет пятидесяти, крепкий, приземистый, с шишковатыми, жилистыми руками. Неразговорчивый. Лицо у него скуластое, почти плоское, волосы черные, давно не стриженные. Тяжелые седеющие брови почти прикрывают его малюсенькие, светящиеся добротой глаза, лежащие в глубоких впадинах. Одежда на нем сильно поношена. Но он выглядит опрятным и чистым. В его легкой походке угадывается сила; держится он с достоинством, уверенно.

Долбачи быстро перебирает приготовленные нам с Павлом вьюки, связывает их парами и тайком сквозь узенькие щелочки бросает взгляд в нашу сторону – ему тоже хочется разгадать, что мы за люди.

Затем он подходит к оленям. Из его связки с ним остался только учаг – ездовой олень, остальные набраны из общего стада. Он мягко кладет загрубевшую ладонь на спину живот-

---

<sup>1</sup> Потка – вьючная оленья сумка.

ного, ощупывает шерстистый хребет, обшарпанные вьюками бока и заглядывает в большие круглые глаза, как бы силясь разгадать характер и привычки животного. Отходит, оглядывает оленя со стороны – надо же запомнить и внешние его приметы, совершенно непостижимые для нас.

Так, не торопясь, придирчиво Долбачи осмотрел своих новых подопечных и принялся привязывать их друг к другу, придерживаясь испытанного правила: за сильным оленем должен идти слабый, за слабым – опять сильный.

Вид у животных усталый. Шутка ли, все лето бродить по топким болотам с грузом! Но впереди еще более трудный, утомительный путь.

Проводник поднимает первый вьюк. Животные точно пробуждаются от сна, поворачивают к нему настороженные головы. В их взглядах безнадежная покорность. Долбачи нам не доверяет, вьючит сам, туго притягивая груз ремнями к натруженным спинам оленей. Мы только подносим ему уже связанные и уложенные на седла потки.

Наконец все готово. В руках посохи, за плечами ружья. С минуту стоим молча у затухающего костра – так уж принято у нас перед большим походом.

Долбачи набивает трубку табаком, прикуривает от уголька и обводит грустным взглядом волнистое пространство, убегающее от нас на юго-восток, как бы пытаясь разгадать, что ждет нас там, за холмами, в синей дали.

– Пошли, – говорит он решительно и, подняв с земли конец поводного ремня от учага, ведет аргиш вверх по ключу.

С первых шагов меня охватывает странное чувство, будто я совсем расстанусь с мечтой увидеть близких, родных, чем жил последние дни. Неужели это предчувствие чего-то недоброго, что ждет нас на Ямбуе?..

Загря прорывается вперед, мечется по ернику, не может угадать, в какую сторону пойдет караван. Его всегда приводит в восторг предстоящий путь, если, конечно, пес идет не на сворке, как в этот раз. Но стоило Долбачи сделать несколько шагов в нужном направлении, как Загря исчез с глаз и до обеденной остановки его не увидишь. Сколько километров он обежит в такой день по болотам, по холмам – уму непостижимо! Но как бы он далеко ни убегал, надолго не упускает из слуха шум идущего каравана.

Я очень привязан к Загре. Он много раз выручал нас из беды. В тяжелые дни, когда в наших потках не оставалось продовольствия, Загря помогал нам добыть зверя. Откровенно говоря, отправляясь к Ямбую, я особенно надеюсь на него. Его великолепный слух и отличное обоняние помогут найти Евтушенко, даже если тот мертв.

Идем навстречу пустырям и тишине. Ничего нет печальнее пейзажа нагорья – унылого пространства заболоченных марей. Эта земля еще не имеет сказаний, у нее нет даже прошлого. Зимой только вой холодного ветра, а летом топь и комары, да изредка на глаза попадает след зверя. Забытый людьми край.

Мы знаем, что впереди нас ждут однообразные ночевки у костра, приготовление пищи, сушка одежды – привычная кочевая жизнь. И хотя все это давно знакомо, все же каждый раз, прежде чем сделать первый шаг по неизвестному пути, снова и снова внутренне проверяешь себя, готов ли ты совершить этот путь.

Единственное утешение для нас – осень, пора изобилия и щедрости природы, пора спелой ягоды, орехов, грибов. Земля и небо на наших глазах вдруг вспыхивают всеми цветами, от густо голубого до яркого пурпура. Только в эту короткую пору года и бывают такие волшебные смеси красок, такие тончайшие оттенки, которые не передать ни словами, ни кистью. И все же осень – время грусти, время увядания природы.

Сегодня нет солнца, и нагорье кажется еще больше однообразным. Идем по старым, заросшим осинником гарям, без тропы; вокруг никаких ориентиров, указывающих путь. Всюду видны лишь лесные бугры, небольшие ельнички и мелкие бесприютные озеринки.

Но проводник уверенно ведет караван. Мерно покачиваясь на учаге, в поисках прохода Долбачи объезжает топи, петляет по завалам или кочковатым марям; но как бы он ни отклонялся в сторону, выбравшись вновь в тайгу, он неизменно ведет караван на юго-восток. Иногда мне кажется, что он сбился с пути, я тайком достаю буссоль, проверяю направление и, устыдившись своих мыслей, шагаю смелее следом за караваном.

На пути ни пней, ни остатков таборов, ни следа человека, только болота, бесконечные болота... Как они нам надоели за лето, будь они трижды прокляты!

Справа, у далекого горизонта показались лиловые ступеньки гор, еще плохо различимые. Это Становой. Мы идем к нему под острым углом. Иногда с возвышенности видим причудливые горбы его угрюмых вершин, скучившихся под хрустальным куполом синего неба. Точно гигантские головы в снежных папах, громоздятся они над глубокими ущельями, из которых с громадной высоты стекают с гулом потоки; достигнув равнины, они вдруг смолкают, спокойно ложатся в извилистые берега и бегут к океану.

Где-то там, у восточного края хребта, в хаосе вершин – Ямбуй. До него еще много дней пути, и при этих мыслях хочется без отдыха гнать и гнать оленей, поспешать к Евтушенко.

На исходе первый день путешествия. За низкими холмами закат кровавит тусклую равнину. Пылают облака, тайга кутается в мутную синеву наступающего вечера. Идем в полной тишине, только шелест опавшей листвы слышен под тяжелыми шагами оленей.

Впереди спуск. За спуском Долбачи, проверив, ладно ли лежат на спинах животных вьюки, перевел караван через шумливый ручей, утонувший в густых зарослях черной смородины. На другом берегу проводник остановился, закурил было, но, оглянувшись на упавшее солнце, снова вскочил на учага, погнав караван к ночевке.

Мы с Павлом не удержались от соблазна, немного отстали и, забравшись в пахучие заросли смородины, рвали горстями тяжелые кисти спелой ягоды, с наслаждением набивая отощавшие за день желудки.

Вдруг впереди и несколько в стороне от следа каравана несмело, отрывисто залаял Загря.

– Медведь! Ей-богу, медведь! – крикнул Павел.

Долбачи торопливо привязывает к лиственнице оленей, выдергивает из вьюка бердану, заряжает ее и бежит на лай. Я с карабином за ним.

До слуха долетает треск сломанных сучьев, и за ольховыми кустами закачалась вершина лиственницы.

Долбачи грозит мне пальцем: дескать, зверь близко, осторожнее. А сам по-рысиному, неслышно обходит ольховник, прикладывает ложу берданы к плечу, высовывается из-за кустарника и неожиданно безвольно роняет ружье.

На лиственнице высотой с телеграфный столб, почти на верхушке, прикинув к ее последнему сучку, в страхе трясется мальчишка лет шести.

Как он попал сюда? Откуда взялся? Непостижимо! Ведь на сотни километров вокруг абсолютное безлюдье, непролазные болота, глушь. Да и вообще тут людям делать нечего.

Парнишка напряженно следит за нами сверху и, кажется, вот-вот сейчас не по-человечески заворчит или издаст призывный, а то и угрожающий клич. Волосы у него взъерошены, в глазах враждебность.

Его круглое и почти плоское лицо до ушей измазано соком голубики и от этого кажется совсем синим. Одежда на нем странноватая: рубашка, пепельно-серая от долгой носки, явно велика и спадает с его узеньких плеч. Заправлена она в штаны, сшитые из лосины, из которых он давно вырос. Ноги босые.

– Долбачи, спроси у него, как он попал сюда? – наконец заговорил я, преодолев оцепенение.

Проводник повел плечами и что-то крикнул мальчишке по-эвенкийски. Того точно током прошило; он вострепнулся, крепче обхватил ручонками вершину и замер, не спуская с нас беспокойного, острого взгляда.

– Не хочет говорить, шибко пугался, – объясняет проводник.

Мы медленно подходим к лиственнице. Мальчишка в страхе пытается подняться еще выше, ноги его скользят по стволу дерева, не находя опоры; он торопится, вершинка лиственницы гнется, вот-вот сломается. Долбачи кричит ему, но мальчишка будто не слышит, никакие уговоры не действуют на него, лезет дальше. Мы поспешно отступаем, иначе он действительно слетит на землю и расшибется.

С противоположной стороны поляны доносится шорох опавших листьев под чьими-то торопливыми шагами. Загря бросается туда, и вскоре у перелеска раздвигаются кусты и в образовавшемся просвете появляется рогастый учаг, а на нем женщина. По тому, как у оленя раздуваются бока, можно было догадаться, что он пробежал немало километров.

Женщину, кажется, не удивила встреча с нами. Бросив лишь короткий взгляд на поляну, она сразу увидела на дереве мальчишку, и с ее усталого лица слетела тревога.

Не сбавляя размашистый бег учага, она соскочила на землю и легкими шагами, будто не касаясь земли, подошла к лиственнице. Мы и не заметили, как мальчишка очутился уже возле нее и, прячась в широченной материнской юбке, все еще дико косился на нас. А женщина подтянула ближе к себе оленя, затем зажала голову мальчишки между ног и начала хлестать ремнем по ягодицам, что-то приговаривая при этом. Тот принял наказание как должное.

Я побежал к женщине, схватил за руку.

Не отпуская мальчишку, она взглянула на меня снизу вверх, прищурилась и без того узкие глаза, потом сказала спокойно, с достоинством:

– Разве не знаешь, что дети лучше всего понимают язык ремня?

– За что ты его наказываешь?

Она выпрямилась. Смуглая кожа на ее лице в свете заката казалась еще темнее, а белые зубы с чистым перламутровым блеском придавали лицу необыкновенную свежесть.

Мальчишка улучил момент, вытащил голову, но, заметив меня, тут же снова зарылся в материнские юбки. Я только увидел, как на цветную наборную рукоятку моего ножа, висевшего на поясе, устремились два пугливых живых огонька. Чем-то она поразила парнишку.

– Тебя шибко боится, – мельком окинув меня быстрым взглядом и одернув юбку, сказала мать. – Он лючи еще не знает.

– Неужели русский такой страшный? – Я протянул руку, хотел приласкать мальчишку.

Но он изо всех сил прижался к матери и вдруг разрозился отчаянным криком.

– Видишь, пугается, – строго сказала женщина, отстраняя мою руку. – У тебя острый нос, все равно что птичий, а глаза круглые, как у оленя. Твоя одежда и обувь совсем не как у эвенка, где он мог тут в тайге видеть таких людей?

Действительно, мои глаза, нос, овал лица, одежда заметно разнятся от обыкновенной внешности эвенка. А так как все необычное у детей чаще всего вызывает страх, то и понятно, почему мальчишка меня испугался.

– А как тебя зовут? – спросил я женщину.

– Сулакикан.

– Лисичка, – пояснил Долбачи.

– Мы пастухи. Кочуем с оленями в горы, – охотно продолжала Сулакикан. – Тут близко наш след. У ключа остановились поправить вьюки, глянула, а Битыка, – она тычет пальцем в мальчишку, – нет на учаге. Посмотрела ремни, которыми привязывала его к седлу, – развязаны; значит, не выпал, а сам соскочил. Подождали – не пришел, пришлось табориться и ехать искать. А он, вишь, голубику увидел и остался.

– Так ведь мог совсем затеряться?

– Как же! Эвенк в тайге не затеряется! – уверенно возразила она. – Не смотри, что маленький, все равно по следу пришел бы на табор. Да разве мать будет дожидаться, пока сам придет?!

У Долбачи вдруг возникает множество вопросов к ней, и они начинают говорить по-эвенкийски. Битык не сводит с меня пугливых глаз. Я же продолжаю рассматривать Сулакикан. Ей лет тридцать. Она среднего роста, стройна, быстра. На скулах проступает густой румянец. Черные жесткие волосы не расчесаны, ничем не прикрыты, а просто собраны в две косички и связаны вместе старенькой тряпочкой. Платье ее с широким подолом из ситца, шаровары заправлены в легкие, из мягкой замши, олочи, расшитые цветными нитками и красиво, в елочку, перевязаны длинными ремешками. Держит себя Сулакикан свободно, бойко отвечает Долбачи, сама что-то расспрашивает, изредка кивая головой в мою сторону. В ее разговоре, в манере держать себя перед незнакомыми людьми полная непринужденность. Эта черта присуща всем эвенкийским женщинам, и особенно она проявляется у пастухов, еще вольно кочующих по огромным просторам Алданского нагорья.

Сулакикан, как бы между прочим, тоже урывками продолжает рассматривать меня. Ее интересуют и мой карабин, и пуговицы на поношенной штурмовке, и нож, и тяжелые солдатские сапоги. Но ни единым жестом она не выдает своего любопытства.

Подошел Павел с оленями. Битык, немного посмелевший, снова зарывается в подол матери.

У дальнего горизонта, где вставали на дыбы лиловые облачные кони, мирно потухал закат, смывая с темных болот вечерний загар. И тут мы все разом заметили, что день кончился. В мутной дымке терялись лохматые контуры холмов, совсем потускнели мари, деревья слились с синими вечерними сумерками.

На лице Сулакикан появляется беспокойство: вспомнила, что у нее еще много хлопот на стоянке. Мальчишка, уловив момент, отрывается от юбки, подбегает к учагу, ловко вскакивает в седло, торопливо набирает на руку свободный конец поводного ремня, один-два толчка пятками в бок оленя – и он уже в десяти метрах от нас. Битык вдруг резко поворачивается, показывает мне язык, и быстроногий учаг уносит его размашистой рысью за перелесок. На олене он чувствует себя неуязвимым; скрываясь с глаз, обернувшись кричит:

– Лючи!.. Лючи!..

– Ишь ты, шельмец, и не упадет! – восторгается Павел.

Сулакикан ведет нас к себе на табор. Представляю, как удивятся пастухи! Не часто в такой глубокой тайге встречаются люди, и нигде гость не бывает таким желанным, как в этих пустынных местах.

О встрече с пастухами здесь мы не могли даже и мечтать. Они кочуют в самой глуши тайги и гор и давно не встречались на нашем пути. Наконец-то я услышу их речь, которую трудно передать и записи которой не всегда точны. В моей памяти этот говор звучит неторопливо, певуче-грустно. Он всегда напоминает мне запах марей, душистых рододендронов, свежеподжаренной оленьей копченки, комариный гул, вой пурги, звон ручья, любопытные морденки ребят, добродушных кочевников и их гостеприимство. С радостью шагаю на стоянку этих вольных лесных людей, с надеждой открыть для себя что-то новое. Давно я ищу такой встречи.

Эвенки народ древний, некогда заселявший огромную территорию от реки Оби до берегов Охотского моря. Их предки еще с каменного века были коренными обитателями Прибайкалья. Отсюда они позже расселились по Сибири. С незапамятных времен эти люди были охотниками. Постоянная борьба за жизнь, лишения, нечеловеческие трудности сделали эвенков наиболее приспособленными к жизни в лесах.

Изолированные от внешнего мира огромным пространством малодоступной тайги, они в течение очень длительного времени развивались вне влияния со стороны, сохранив

самобытность древней культуры. Революция застала их в самых отдаленных и глухих районах тайги, вдали от цивилизации и уже малочисленной народностью. И хотя к этому времени эвенки считались православными, они продолжали верить в злых и добрых духов, в бессмертие, почитали медведя.

Наши современные пастухи, кочующие с колхозными стадами оленей по безбрежным пустырям нагорья, ведут свою династию от тех древних эвенков, что некогда пришли сюда, на эту суровую скупую землю, будучи изгнаны из лучших мест в жестокие времена угнетения народностей. Эти эвенки-пастухи не знают оседлости и после революции продолжают вести кочевой образ жизни.

Вот почему я и обрадовался встрече с ними. Где же, как не у этих лесных людей, должны сохраниться какие-то обычаи предков, старинные орнаменты на одежде, обуви, предметах обихода и прежний эвенкийский образ жизни. И, конечно, хотелось узнать, что нового принесла им современная культура.

## Глава вторая. Битык вызывает на поединок

Темень быстро заполняет просветы в лесу. Густой безбрежный туман расстилается по падам, цепляясь за лысые бугры и норовя подняться над ельником. Но тяжелый сумрак давит его к земле, к сырой болотной колыбели.

Шагаем молча, гуськом. В темноте какие разговоры! Долго шлепаем по черной мари-стой воде, густо утыканной кочками, пробираемся сквозь стланиковые заросли. Небо равнодушно и низко над притихшей тайгой. Какая-то неподвижность царит в темно-лиловой долине.

Вдруг живой огонек продырявил густой настывший мрак. Доносится людской говор. Ноги теряют усталость. Олени, почуяв дым, прибавляют шаг. Наконец-то окончен сегодняшний путь! Наградой нам будут вечерний костер, кружка чаю с горячей лепешкой да встреча с пастухами.

Выходим на поляну... «Вот они, лесные люди, прошлое этой земли», – подумал я, увидев остроконечные жилища кочевников, лес рогов отдыхающих оленей и вокруг большого костра плосколицых, загорелых людей, освещенных бликами яркого пламени.

У огня и наш новый знакомец Битык. Он с жаром рассказывает взрослым, все время показывая руками в нашу сторону, видимо, о встрече с нами – со странными для него «лючи». Все так захвачены рассказом, что не замечают, как мы подошли к стоянке.

Тишину разрывает дружный лай всполошившихся собак. Они высыпали нам навстречу из темных закоулков стоянки. Все люди поворачиваются в нашу сторону, и, пока мы подходим ближе к костру, я успеваю бегло оглядеть стоянку.

Несколько поодаль от огня, под густым ельником, стоят берестяные чумы. В вечернем сумраке они кажутся далекими снежными вершинами. Рядом с ними мешанина еще не разобранных выюков: постели, потки, люльки, седла, олени шкуры, домашняя утварь. Почти на середине маленькой поляны, у жаркого костра пестрела толпа женщин и детей. Пламя, вырываясь из-под толстых головешек, освещает их спокойные бронзовые лица и бросает мигающий свет на отдыхающее стадо оленей. Животные лежат плотным серым пластом, пережевывая корм.

Здесь, в глуши далеких лесов, пастухи сберегли чистоту эвенкийского типа. Лица взрослых поражают своею родовитостью. Они круглые, чуточку плоские, с узким разрезом глаз. Все ребята удивительно похожи друг на друга – явно одного племени.

Мы оказались у пастухов из Омахтинского стойбища, что на речке Учур. Они перего-няют колхозное стадо оленей на новое стойбище. И хотя никто из них не приветствует нас, все стоят, словно припаянные к земле, доброжелательные взгляды говорят, что мы желанные гости.

Больше всех удивлены нашим появлением дети. Они с криком бросились к чумам, но, заметив, что с нами идет Сулакикан, скучились и замерли в какой-то нерешительности. Они рассматривают нас с любопытством, как призраков, пришедших к ним на стоянку из другого мира.

Мимо нас со злобным лаем промчалась огромная стая разношерстных собак. Впереди взрослые, за ними калеки, скачущие на трех ногах, и щенки. Все с ходу навалились на бежавшего сзади каравана Загрю. Закипела свалка. Все смешалось, взвыло и стало отдаляться к лесу и там вдруг оборвалось, смолкло, точно сквозь землю провалилось...

Из мрака появляется Загря. Идет геройски. Медленно ворочает головою и, скаля зубы, показывает смолкшим противникам острые клыки. Вся стая плотным полукругом сопровождает его. Когда Загря, опередив караван, вышел на поляну, какая-то плюгавенькая собачонка схватила его за заднюю ногу и тут же постыдно бежала. Загря даже не оглянулся на

нее. Не прибавляя шагу, все так же уверенно, спокойно прошел дальше к чумам. Подошел к свежесрубленному пню, обнюхал его, сделал пометку и, повернувшись, стал сильными лапами разгребать пухлую землю. Внешне он казался спокойным и даже безразличным к притихшей стае, но долго еще у него стояла дыбом шерсть на спине и на загривке: видно, это спокойствие досталось ему нелегко.

– Смелый в драке всегда во много раз сильнее, – слышу голос старухи со шрамом через всю левую щеку. – У-у... проклятушие, сробели! – гневно грозит она на своих собак кривым посохом и, повернув ко мне широкое лицо с крупными чертами, бойко предлагает: – Бери за своего кобеля по выбору половину наших... Чего думаешь, хорошо даю.

– Корма на них много надо! – отшучиваюсь я.

– Они в тайге сами себя прокормят!

– Себя-то прокормят, – соглашаюсь я. – А нас?

– Оленя жирного давать будем в придачу. Не отказывайся, потом захочешь меняться – столько не дам.

– Так много Загря не стоит. К тому же он страшно злой кобель, людей кусает, горя с ним наберетесь, – пытаюсь разочаровать эвенку.

– Пошто дурной такой? – И старуха что-то кричит строгим голосом детворе, окружившей Загрю.

Те вмиг рассыпаются кто куда. А Загря важной, львиной походкой направляется к костру. Все собаки покорно уступают ему дорогу, провожают остывшими глазами, а он ложится на притоптанную землю, начинает рыться мордой в свой лохматой шубе.

– Кобель красивый и, видать, сильный, а вишь блохи и его кусают, – говорит старуха.

Наконец-то мы здороваемся, приветствуем друг друга пожатием руки. И даже теперь на лицах женщин каменное спокойствие, точно такие, как мы, гости у них бывают каждый день.

Мы находим место для палатки, недалеко от чумов, развьючиваем оленей и начинаем разбирать багаж. Нас окружают все жители стоянки. Дети, немного посмелев, подступают поближе, усаживаются на землю и, стгорая от любопытства, следят за нами. Одна девочка лет пяти, с беличьими раскосыми глазенками и черной косичкой приблизилась ко мне у всех на виду и, боязливо протягивая ручонку, дотронулась до моей одежды.

Среди детворы раздался взрыв одобрения и восторга.

Женщины помогают Павлу ставить палатку. Долбачи привязывает на шею оленям чайхай – длинные поленья, чтобы они далеко не уходили, и отпускает на корм. На огне два больших котла с варевом. От них доносится запах отварного оленьего мяса. Этим запахом пропитан весь воздух. Я беспрерывно глотаю слюну, так чертовски проголодался!

Я смотрю на вороха еще не разобранных пастухами выюков. Чего только они не возят с собою, и – ничего лишнего.

Много ли нужно для существования жителю тропических стран? Набедренная повязка, горсть риса и несколько плодов, почти ничего не стоящих. Постель, кров, тепло дарит природа. Жители северного края, где больше холода, чем на юге тепла, должны всегда иметь при себе летнюю и зимнюю одежду и обувь, меховые спальные мешки, палатку, печь, большой запас продуктов. Это не только обременительно, но и очень дорого, средства же к жизни эвенк добывает великим трудом, промышляя пушного зверя в снегах глухих лесов, в тундре. Когда об этом думаешь, невольно хочется сказать, как несправедливо распределены богатства на земле.

Старуха со шрамом продолжает стоять около меня. Ее зовут Лангара. Ей много лет. Она молча осматривает наши выюки, но на ее морщинистом лице ничего не отражается. Я тоже поглядываю на нее. Уж очень сухощавая она и длинная. В ее взгляде житейская мудрость. Ее лицо казалось удивительно светлым, будто Лангара никогда не знала горя, унижения, слез.

Оно было спокойно и неподвижно. Глаза смотрели так же спокойно, точно все они видели уже много-много раз, все пережили, со всем примирились. И теперь ничто уже в них не возбуждает любопытства. Годы трудной жизни, видимо, научили эту женщину ничему не удивляться и сделали ее сердце добрым. Может быть, именно в этой доброте и есть человеческое счастье, его богатство!

– Куда тропу мнете? – спросила она, вызывая меня на разговор.

– Пойдем к гольцу Ямбуй. Знаешь такой?

– Ямбуй? – удивилась старуха и, отступив на шаг, еще раз оглядела меня с головы до ног, будто перед ней стоял люци, спятивший с ума.

– Случайно, вы не к Ямбуу гоните стадо?

– Оборони бог! – Она протестующе замахала руками. – К Ямбуу у эвенков давно тропы нет.

– Почему?

– Ты что, не знаешь? Ямбуй – место шибко плохой! – Лицо ее, будто от боли, стянулось бесчисленными морщинками. – Люди пропали там!

– Люди пропали? – невольно удивился я. Откуда бы им знать о пропавших геодезистах? – Кто тебе говорил об этом?

– Сама знаю. Три листопада или больше назад близко гольц девка потерялась. Пошла от стоянки на озеро уток стрелять и не вернулась. Долго искали – не нашли. Без следа потерялась. Потом, две зимы, что ли, назад, мужик, шибко хороший охотник, пошел на Ямбуу сокжой промышлять и тоже пропал.

– Куда же они девались, как ты думаешь?

Она пожала узенькими, сухими плечами и, достав из чехла тонкий длинный нож, вытащила из котла кусок дымящейся оленины, отсекла от него жирный край, долго мяла беззубым ртом, затем сняла оба котла, приставила их к жару. А сама, молча поглядывая на меня, что-то обдумывала.

Значит, не только наши геодезисты на Ямбуе пропали... Это уже серьезнее того, что можно было представить. Теперь совсем непонятно, что же могло случиться с ними на Ямбуе.

А Лангара продолжала:

– Мой старик Карарбах говорит, будто там, на гольце, живет злой дух Харги. Он не любит, когда близко к горе приходят люди, беспокоят его своими делами.

– А ты веришь в духов? – спросил я.

Она посмотрела на меня долгим, чуть насмешливым взглядом.

– На свете много чего есть, даже самый мудрый не все знает... Я, может, не стану верить в духов, если ты скажешь, куда могут деваться люди, пропасть без следа... Не знаешь?.. А я знаю – только к Харги! – закончила она убежденно, и у нее нервно задергались уголки рта.

– У нас на Ямбуе в этом году тоже пропали два человека: один весной, а второй недавно.

– Люци? – удивилась она.

– Да, русские.

Лангара поражена не меньше меня. Задумывается. Потом шепчет:

– Видишь, духи шибко гневаются: сколько людей брали – и все мало. Ты искать будешь?

– Да. Мы должны найти их хотя бы даже мертвыми.

– Скажи, какой дурной проводник таскал твой люди на Ямбуу, в это худое место?!

– Маймаканские каюры.

– А-а, маймаканские могли не знать, что на Ямбуе стоит чум Харги. От них эта гора далеко.

– А вы хорошо искали пропавших?

– Как искать будешь, если нет следа?

– Вот уж зря свалили на злого духа. Надо было узнать, почему погибли люди.

– И ты не ходи к Ямбую – пропадешь! – говорит она, пронизывая меня умными глазами.

Ну и дела! Я, кажется, готов поверить, что на этом далеком гольце у границы Алданского нагорья действительно властвует злой дух Харги. Но в образе кого? На двух или на четырех ногах?

Лангара, вплотную приблизившись ко мне, пытается отговорить меня.

– Послушай, кто пропал на Ямбуе, ты даже следа их не найдешь, да и зачем тебе мертвый? Не ходи. Зачем напрасно тропу топтать? Лучше пойдем с нами вершину Худоркана, дикий баран добудем, мясо жирное кушать будем. Э-э, какой это мясо! – Она сладко причмокнула пустым ртом. – Ел?

– Много раз ел, Лангара. Хорошее мясо. Но спасибо за приглашение. Ты мне сейчас такую задачу задала – не до баранов. Скоро к Ямбую еще наши люди придут, как бы и с ними чего не случилось. Надо торопиться туда.

– Не хочешь?.. Подумай, атыркан<sup>2</sup> хорошо тебе толмачит. Когда в потках нет мяса, невесело кочевать по тайге. – И она, видимо вспомнив о вечерних своих обязанностях на стоянке, отошла от костра, но вдруг вернулась, ткнула мне в грудь разлохмаченным концом посоха.

– Думаешь, ты сильнее Харги?

– Человек сильнее всего.

– Пустая думка! – бросила она с досадой и торопливыми шагами ушла к чуму.

То, что рассказала Лангара, было для меня полной неожиданностью, заставило как-то иначе посмотреть на события. Одно ясно: исчезновение людей на Ямбуе не случайность. Удастся ли нам подобрать ключ к разгадке и узнать, что же произошло там с людьми, или мы тоже разделим участь наших товарищей?

При этих мыслях меня охватывало чувство, похожее на робость. Вероятно, это испытывает каждый человек, когда он неожиданно становится перед лицом опасности.

Кто-то осторожно подкрадывается ко мне сзади. Это Битык, окруженный детворою всего стойбища. Он не сводит с меня глаз, шагает неслышно, поднимая высоко ноги. В руках у него небольшой, красиво изогнутый лук из тяжелого лиственничного дерева. Тонкая жильная тетива одним концом наглухо прикреплена к луку, другой же конец свободен, чтобы не держать дерево в постоянной напряженности.

У одного, видимо самого старшего из ребят, дочерна смуглого парнишки, я увидел в руках стрелы, довольно-таки длинные, тоже из лиственничного, прямослойного дерева, с железными наконечниками. Они тщательно отделаны и гладко отполированы – от этого, должно быть, зависела их меткость.

На виду у затаившейся детворы Битык высовывается вперед, но колеблется. Черные глазенки лукаво искрятся, подбородок дрожит, он явно не в силах преодолеть страх. Не знаю, что ему надо, ободряю его улыбкой. Парнишка как будто смелеет, пытается тоже улыбнуться. Его взгляд опять приковывает рукоятка моего ножа. Заглядевшись на нее, он шагнул вперед, неожиданно ногою зацепился за кочку и, смешно подпрыгнув, падает на землю вместе с луком. Раздается взрыв детского смеха. Я тоже смеюсь.

А Битык уже на ногах. Плотнo сжав губы, мальчишка подходит ко мне твердой походкой, но не ближе, чем на два шага, протягивает лук, а головой кивает в сторону, где лежат наши выюки.

---

<sup>2</sup> Атыркан – старуха.

Я смотрю туда и ничего не понимаю. Зову проводника.

– Долбачи, спроси у Битыка, что он хочет?

На лице старика появляется многозначительная улыбка.

– Ему нравится твой карабин, – говорит Долбачи. – Он хочет менять его на свой лук.

Смотрю на парнишку в недоумении: шутит он или серьезно хочет обменять свой лук на мой карабин? Битык тоже не сводит с меня взгляда, ждет ответа, стоит убежденный, что этим обменом делает мне одолжение. А я не знаю, как отказать ему, чтобы не обидеть и не унижить себя в глазах детворы.

Они ждут, что будет дальше.

Выручает меня сам Битык. Обратившись к ребятам, он передает одному из них лук, берет топор и, полный независимости, шагает мимо своих сверстников прямо в темноту.

Кто-то бросает в костер охапку сушняка, и сноп яркого пламени вырывает из мрака стволы белесых пихт. Мальчик подходит к самой толстой из них, топором делает широкий протес и на нем рисует что-то вроде зайца. Затем делает еще один протес, повыше первого, в середине его рисует точку.

Что он затевает?..

Вся детвора повернулась ко мне и замерла в ожидании, еще не зная, что я в ответ предприму. На их бронзовых лицах, в подвижных глазках торжество, смешанное с лукавством. Несомненно, Битык придумал какую-то хитрость, чтобы завладеть моим карабином.

Представляю, сколько будет у них радости, крику и писку, если Битык подстроит мне какую-то ловушку и я попадусь в нее.

Он подходит к Долбачи, осмелевший, сияющий и что-то торопливо и долго говорит ему.

– Битык говорит, что ты напрасно не меняешься с ним, – поясняет мне Долбачи. – Мальчишка хочет показать тебе, что его лук стреляет лучше твоего ружья. Ты будешь первым пускать пулю в пятно на дереве, потому он пустит стрелу в зайца. Понял?

Я утвердительно киваю. Беру в руки карабин. Детвора сбивается пестрой стайкой.

Битык просит Долбачи натянуть на лук свободный конец тетивы, это еще не под силу мальчишке. Затем он отбирает из пяти стрел одну. Долго рассматривает ее, проверяет на глаз, выгибает на прочность.

Мне никогда не приходилось участвовать в таком состязании, но я не раз восхищался умением детей кочевников пускать стрелы. Что говорить – мастера! Битык уверенно готовится к состязанию – он явно опытный противник. И хотя на моей стороне все преимущества, мальчишка надеется выйти победителем.

Наконец-то все готово. Женщины бросили работу, собрались у костра. Весело переговариваются. Все, конечно, на стороне Битыка. Я же был рад, что таким образом мне удастся сблизиться с этой чумазой детворой, и в душе благодарил Битыка за то, что он затеял такую игру. Я действительно был убежден, что это всего лишь игра, рассчитанная не больше как на потеху.

Парнишка заметно волнуется. Глазенки быстрые, как у мыши. Окончательно посмелев, он берет меня за руку, уводит к противоположному краю поляны, примерно на пятьдесят метров от мишени, и предлагает стрелять. Я решаю промазать и этим доставить удовольствие детворе. Прикладываю ложе карабина к плечу, долго целюсь, испытывая терпение присутствующих, затем подвожу мушку повыше пятна на дереве, и хлесткий выстрел лениво расползся по глухим закоулкам уснувшего леса.

Отдыхающие у чумов олени вскочили и, сбивая друг друга, рванулись в темноту. Залаляли собаки. Издалека, как бы в ответ на выстрел, донесся человеческий крик...

Дети бросаются к пихте. Они быстро находят след пули в верхней кромке затеса, и, судя по их ликованиям, по их радостным взглядам, мой промах обнадеживает их.

Теперь очередь за моим противником. Он считает, что дистанция для стрельбы должна быть наполовину короче дистанции для стрельбы из ружья.

Я не возражаю. Надо было действительно слишком верить в меткость стрелы, чтобы в сравнении с пулей выговорить столь незначительные уступки.

Битык тяжело вздыхает, глушит волнение. На стойбище стало тихо-тихо. Все – и взрослые и дети – напряженно следят за каждым движением парнишки. Он сбрасывает с себя рубашонку. Приятель помогает ему стянуть ремнем живот и, хитро улыбаясь, что-то заговорщически шепчет ему на ухо.

– Он его учит: когда будешь натягивать ил<sup>3</sup> – не дыши, иначе не тудапустишь стрелу, – говорит мне Долбачи.

Лицо Битыка становится серьезным. Мальчишка внимательно осматривает лук, отходит несколько дальше от костра. Вот он опускается на правое колено, а левую ногу, слегка согнутую, выставляет вперед, упирается ею в землю. В его движениях нет обычной детской торопливости. Он вытягивает на всю длину левую руку с луком, прикладывает стрелу и начинает медленно оттягивать тетиву. Все в нем напряжено: глаза, мышцы, каждый волосок. Лицо багровеет. Но что-то мешает ему. Мальчишка отпускает тетиву, вскакивает, быстро подтягивает лосевые штаны и снова опускается на землю. Тверже ставит левую ногу и делает глубокий вдох. Снова напрягается, тянет изо всех сил тетиву, и стрела с характерным свистом проносится между освещенных костром стволов, вонзается в «зайца»...

Крик восторга разрывает тишину уснувшего леса. Битык встает, вытирает рукавом потное лицо. Дети подпрыгивают, как мячики. Один падает на мох, но тотчас же вскакивает и в диком экстазе начинает бешеный танец охотника. Девочка с черными косичками ликует. Победа Битыка приносит кочевникам безграничную радость.

Радуюмся и мы с Павлом.

Когда прошли первые минуты восторга, к герою подошла Лангара и краем подола своей широченной юбки вытерла ему нос. Затем она что-то назидательно сказала ему по-эвенкийски, показала рукой на «зайца» и неожиданно дала подзатыльник.

– Пусть не гордится! – сказала старуха, обращаясь к нам. – Надо было в голову «зайцу» попасть.

– Он еще мал, научится, – ответил я.

– Если сейчас не умеет, потом не научится.

Но Битык, кажется, и не заметил подзатыльника, так велик был его азарт. Мальчишка твердой походкой подошел ко мне и с гордостью протянул свой лук.

Я не знал, что делать: только сейчас понял, что это не игра, что парнишка совершенно серьезно рассчитывает получить карабин. Он стоит с протянутым луком и не может понять моего замешательства. Я же действительно ничего не могу придумать и стою как истукан. А все смотрят на меня и ждут.

– Долбачи, – обращаюсь я к проводнику, – скажи Битыку, что карабин не мой, казенный, его нельзя никому дарить или менять. Пусть он скажет, что другое хотел бы получить за свой лук.

У парнишки смыкаются черные брови, виснут плечи. Лицо морщится от обиды, но от волнения он не может раскрыть рта. Вопросительно смотрит на меня черными доверчивыми глазами и еще надеется. Затем отходит к ребятам, и они все, сбившись в кучу, глядят на меня с явным осуждением.

Мне, признаться, стало жаль их и в то же время неловко перед всеми присутствующими.

---

<sup>3</sup> Ил – тетива.

И тут я вспомнил про нож. Ведь он при первом знакомстве поразил Битька своей цветной наборной ручкой. «Вот и выход!»

Не задумываясь, вынимаю его из ножен, беру за лезвие и протягиваю парнишке.

У него загораются глаза. Он хватает нож, вертит его перед собой, пробует острие большим пальцем, не может налюбоваться. Вся детвора с завистью следит за ним.

Но вдруг Битьк как бы спохватывается. На лице снова появляется досада.

– Ачин!<sup>4</sup> – неожиданно произносит он с детской непосредственностью и, не взглянув на меня, возвращает нож.

Я растерялся.

Мы стоим молча друг против друга. Он с луком в руках, я с ножом. Не знаю, куда девать его. Стою буквально уничтоженный поступком мальчишки.

– Послушай, лючи, у детей долго не живет обида, потом помиришься, – слышался голос старухи. – Ты думал он не попадет в «зайца»?

– Я не думал, что это серьезно, – неуклюже оправдывался я.

Всеми забытый костер почти погас. Долбачи осторожно подсунул в огонь концы поленьев и ушел в палатку. Женщины принялись за работу.

А Битьк не сдвинулся с места. Безвольно уронив руку с луком, он продолжал стоять в окружении сочувствующих ему ребят. Его рот был открыт, глаза увяли, погас в них озорной огонек. Как плохо он должен думать о лючи! Стало непростительно стыдно за себя перед этим еще не искушенным ребенком. Обман у эвенков – самый тяжкий грех.

Битьк еще раз пристально глянул мне в глаза, задержал свой взгляд на карабине и медленно поплелся к чуму. Не оглянувшись, ни у кого не искал сочувствия, уходил тяжелой походкой. А я смотрел парнишке вслед и думал: отдай ему сейчас ружье – он так же гордо скажет: «Ачин!»

Ко мне подошла Сулаккан, успокоительно улыбаясь, и, ничего не сказав, ушла следом за Битьком. Еще горше стало у меня на душе. Кому нужна была эта шутка? Вряд ли мне теперь удастся вернуть расположение к себе малышей.

Разбрелась по чумам и остальная детвора. Они не искали для меня снисхождения, ушли удивленные, с полным сознанием своей правоты.

«Вот эти уже не будут похожи на своих предков, покорных рабов жестокой судьбы, хотя тоже родились в первобытной тайге. Они наследуют новую жизнь, не будут унижаться или выпрашивать у Харги подачки, и прошлое своего народа станет для них легендой».

Затихла стоянка.

В прогалине высокоствольных лиственниц появилась полная луна, разливая холодный голубоватый свет по поляне. Посветлели холмы за болотами. Надвинулись черные стены провалов, едва различимые вдаль. И тишина глубокая, ничем не нарушаемая, проникла и в мою душу.

К ночи посвежел воздух. Набрасываю на плечи телогрейку, поправляю костер. Снова возвращаются все те же думы о бесследно исчезнувших людях. С еще большей силой нахлынуло недоброе предчувствие какой-то беды, поджидающей нас у Ямбуя. Вдруг подумалось, что мы непростительно медленно идем, упускаем время. Хотелось собрать оленей, накинуть на спины вьюки и гнать их день и ночь, день и ночь...

Подошел Долбачи. Он подбросил в огонь дров, воткнул заостренный конец тагана в землю, повесил чайник.

– Ты слышал, Долбачи, что говорила старуха про Ямбуя?

Проводник не отвечал. Ему явно не нравился этот разговор.

– Что же ты молчишь? Тоже боишься Харги?

---

<sup>4</sup> Ачин – нет.

– Харги мне плохо не делал, – уклончиво заговорил Долбачи. – Наверное, близко Ямбуй есть худой место, зыбун, может, человек там пропади, утонул, и совсем не осталось следа, или ушел далеко, заблудился.

Слова проводника не утешили меня. Я уже думал о том, что люди могли попасть в зыбуны и погибнуть. Но от этого еще тягостнее на душе. Представлялись ровное, точно приутюженное моховое поле и неопытный путник, вступивший на бархатистый покров зыбуна. Один неосторожный шаг – и вот уже нет опоры. Под ногами у человека трясина, жадно всасывающая добычу в свою холодную утробу. Никто не услышит среди безмолвных болот одинокий крик и мольбу о помощи.

Как бы в ответ на эти мысли из ночной глубины леса до слуха доносится приглушенный детский стон. Донесся и не смолк, повис над стоянкой.

Я вскакиваю.

– Не Битык ли плачет? – спрашиваю у Долбачи.

– Девочка, сестра его, в чуме пропадает, – отвечает проводник спокойно, точно ничего особенного не происходит.

– Как, то есть, пропадает?

– Шибко болеет.

– Что с нею?

– Никто не знает.

Забывая обо всем, бегу к чуму. Распахиваю вход, заглядываю внутрь.

Тусклый свет от костерка, разложенного посреди чума, еле освещает его. Внутри никакого убранства, пустые стены из берестяных полотнищ, положенных на конусообразно поставленные шесты. Слева ворох еще неразобранных постелей. В глубине чума сидят, прижавшись друг к другу, молча, как птицы у разоренного гнезда, Лангара и Сулакикан. Рядом, ближе к входу, за бревном, на оленьей шкуре какое-то странное существо, полуприкрытое стареньким одеяльцем. Включив свет карманного фонаря, приподнимаю одеяло.

Передо мною девочка лет трех, совершенно изнуренная болезнью. Ее широкое лицо как бы провалилось внутрь, сморщилось и стало совсем плоским. Вместо губ – синие полоски. Руки и ноги как плети, обтянутые кожей.

Тяжелый запах отсыревшей постели наполняет чум.

Девочка без сознания, бредит. В свете фонаря ее глаза кажутся стеклянными.

Присаживаюсь на бревне возле больной. Беру безвольную ручонку, напрасно пытаюсь нащупать пульс. Худенькое тельце девочки в огне. От чуть заметного дыхания у нее шевелятся крылышки носа. В ней еще теплится жизнь... А смерть как будто рядом, в темном углу чума ждет своего часа, ждет спокойно, терпеливо.

Я смотрю на больную, и меня охватывает отчаяние при мысли, что девочка умирает, а мои познания в медицине слишком скудны, чтобы спасти ей жизнь. Старуха тяжело поднимает голову.

– Опять худо Аннушке. Днем стало легче, а сейчас опять...

– Чем лечите?

– От этой болезни нет лекарства...

– Опять Харги?

– Не кричи! – перебивает меня шепотом старуха и грозит пальцем. – Зачем зовешь, если услышит, может и в твой чум послать беду. Берегись его в тайге... Они, молодые, – она кивает в сторону Сулакикан, – забыли про него. Вот он и хочет Аннушку брать.

– Повстречайся мы с вами раньше, черта бы я ему дал, а не Аннушку! А теперь слишком далеко болезнь зашла.

Старуха замахала руками на меня.

– Тихо говори!.. Если ты такой сильный, не дай ей нынче умереть, и я поверю... – Она умолкает.

– Что духов нет? Так, что ли?!

Лангара пугливо оглядывается и дает мне понять прекратить разговор.

Тихо плачет Сулакикан; и кажется, вот сейчас она разрыдается, и безутешным материнским горем захлебнутся чум, тайга, ночь.

Нет, она затихла, подняла на меня страдальческие глаза; в них боль и безропотная покорность судьбе.

Я не верю в чудеса, но надо немедленно что-то предпринять, хотя бы для того, чтобы не оставаться безучастным к горю этих людей.

Выхожу из чума и натываюсь на Битька. Он стоит у входа, прислонившись к скошенной берестяной стене и прислушиваясь к стону умирающей сестренки. Мальчишка поймал мой взгляд печальными глазами. В них и мольба и надежда. От прежней обиды на меня не осталось и следа.

Я обнял его, прижал к себе. Мне хотелось утешить мальчика, но не нашлось слов, понятных ему, да и не было надежды на спасение Аннушки.

Давно догорела вечерняя заря на горизонте. Лес вокруг чумов стоит редкий, одинокий, пронизанный полосами лунного света. Тишина полна бодрости. В воздухе ощущение нескончаемой жизни. Так зачем же смерть на земле!

Не знаю, что бы я отдал за спасение девочки, за материнскую улыбку Сулакикан, за радость Битька. Но как это сделать, как спасти Аннушку всем Харги назло?

– Павел! – кричу я, забираясь в палатку к радисту. – На стойбище умирает девочка. Устанавливай рацию и любыми средствами свяжись со штабом экспедиции, пусть немедленно вызовут к микрофону врача для консультации.

– Штабная рация уже закрыта до утра, – отвечает радист, удивленный моим приказом.

– Выходи на волну Министерства связи, объясни радистам, в чем дело, попроси сообщить нашим, что мы в двадцать три часа ждем для переговоров врача.

– Вы же знаете, что работать на чужой волне строго запрещено.

– Еще строже запрещено равнодушие. Не теряй времени!

Неожиданно раскрывается вход в палатку, появляется заплаканная Сулакикан. Она что-то держит спрятанное в подоле юбки, пугливо оглядывается и бесшумно опускается рядом со мной, точно вращаясь в землю.

– Ты не обижайся, Лангара хороший человек, и не ругай ее, что она верит в духов и всякие приметы. Старые люди другого не знали, – и, переводя дыхание, она подает мне аптечку. – Тут много лекарств от всяких разных болезней, но мы не понимаем их язык, что к чему. Ты помоги спасти моего ребенка. – Ее голос обрывается. Она ловит мою руку и дрожащими губами шепчет:

– Спаси Аннушку!

Я открываю ящичек. В нем все перемешано, названия лекарств стерты от долго пути во вьюках.

– Я сделаю все, что от меня зависит, Сулакикан. Павел вызовет к аппарату доктора, я ему расскажу про болезнь Аннушки, и он посоветует нам, как и чем ее надо лечить. А пока посмотрю в своей аптечке лекарства и что-нибудь дам девочке, чтобы ей стало легче.

– Ты сейчас позовешь доктора? – поразилась она.

– Да. Слышишь, Павел уже зовет.

– Доктор – шибко хорошо. – Сулакикан оживает, в ее глазах вспыхивает и уже не гаснет надежда. Она уходит к больной.

Достав из потки аптечку, нахожу аспирин, растворяю одну таблетку в ложке воды, несу в чум и с помощью Сулакикан, тайно от Лангары, вливаю в рот больной. Она все так же лежит бездыханным комочком, и мне становится ясным, что Аннушку не спасти.

## Глава третья. Эвенкийский закон долголетия

Из леса выходят двое мужчин с бревнами на плечах. Передний, тонкий, длинный, идет под тяжестью легко, не сгибая спины, и быстро, как сокжой. Второй, поменьше, еле поспевает. За ними показывается старик с хромым оленем в поводу. Он идет налегке, но, видно, прожитые годы лежат на плечах грузом потяжелее бревна. Одет он во все самодельное, бедно даже для кочевника.

– Откуда люди? – спрашивает передний, но вдруг замечает под ногами Загрю, отскакивает в сторону, чуть не уронив бревна. – У-у-у... здоровущий кобель! Поди, укусит?..

А старик проходит мимо, не проявляя любопытства. Молодые мужчины радушно жмут нам руки и завязывают с Долбачи разговор на своем языке. Им хочется знать, что мы за люди, какое дело привело нас в эти пустыри и как долго мы будем их гостями.

– Напрасно идете на Ямбуй, – говорит высокий мужчина, муж Сулакикан, обращаясь ко мне.

– А что, по-твоему, там Харги?

– Нет, – убежденно говорит он, – но тот, кто забрал людей без следа, шибко хитрый.

– А могли люди погибнуть в зыбунах?

Он неопределенно повел плечами.

– Только слепой да дурной полезет в зыбун. Чего делать там?

– Где же искать пропавших?

– Однако, близко Ямбуй худой люди живи, чужого не любят.

– Думаешь, там беглые скрываются?

– Так многие говорят, – уклончиво ответил он. – И вы не ходите одни, тоже пропадете.

Ямбуй надо сразу много люди. – И он ушел в чум к больной дочери.

Час от часу не легче! Если там действительно скрываются преступники...

Мое внимание приковывает старик. Он держится обособленно, будто у него тут свои дела, не связанные с остальными. На его желтовато-смуглом лице, в устало сжатых губах какая-то безысходность, навсегда застывшее выражение горечи. Мне кажется, что когда-то я видел это окаменелое лицо, сильно приплюснутый нос, скрюченную спину и эти худые руки, заканчивающиеся широкими кистями с кривыми, изувеченными подагрой пальцами. Но где и при каких обстоятельствах?.. Вспомнить не могу.

Старик привязывает хромого оленя к березке. Ощупывает его больную ногу. Достает нож и начинает расчищать рану у верхнего края копыта. Олень бьется, но руки у старика как клещи. Никто не помогает ему, хотя все видят, что он еле сдерживает взбунтовавшееся животное.

Хочу пойти помочь Карарбаху (так звали старика), но Лангара удерживает меня за рукав телогрейки.

– Не ходи, – говорит она властно.

– Почему? – удивился я.

– Старику не надо помогать.

– Да ты посмотри, ему не удержать оленя!

– Удержит. Для старого чем труднее, тем лучше, – утверждает она.

Карарбах никого не позвал помочь ему, сам справился с животным. Отпустив его, подходит к костру, устало опускается на землю, осторожно подвернув под себя ноги. Длинные волосы липнут к мокрому лбу. Голова клонится к теплу. Он кажется тут случайным человеком, из другого племени.

Старик только теперь замечает меня с Павлом. Он смотрит на нас равнодушно, погруженный в свои думы.

– Долбачи, ты не скажешь, почему Карарбах такой одинокий? Не болен ли он чем? – обратился я к проводнику.

– Он глухой, давно не слышит, а охотник – куда с добром! Недавно сокжоя свалил, видишь, как много мяса варили. У него доброе сердце, это хорошо знают все стойбища и все люди, которые ходили его тропюю. Всю жизнь он кочует тут по нагорью с колхозными оленями. Шибко хороший люди!

Узенькая, будто не его, латаная дошка не сходится на груди Карарбаха, она связана лосевыми тесемками и перехвачена на животе сыромятным ремнем. На ногах донельзя истрепанные унты, аккуратно перевязанные ремешками пониже колен и выше щиколоток. И уж совсем необычное лицо, неподвижно печальное, без тени улыбки, утомленное заботами трудной жизни. Лоб широкий, в морщинах. Верхняя губа слегка прикрыта жиденькими волосами, напоминающими усы. Бородка тоже реденькая, свисает двумя пучочками с подбородка. Ладони рук, потрескавшиеся от работы, грубые, быть может, никогда никого не ласкавшие. Кажется, давно в этом старике все погасло, не осталось даже воспоминаний. И только глаза, утонувшие в глубоких сухих впадинах, еще жили и поблескивали, как утренние капли росы на листьях рододендрона.

Карарбах достает из-за пазухи трубку, набивает ее табаком, прикуривает от уголька, делает две-три затяжки. Возле него появляется Лангара. Она бесцеремонно отбирает трубку, засовывает мокрый конец чубука в рот. Потом трубку я вижу в зубах Сулакикан. К Карарбаху она вернулась потухшей, пустой, обсосанной чужими губами.

Так было принято у кочевников. Не всегда был табак под рукою и не у каждого, потому и не считалось зазорным пускать трубку по кругу. Курили ведь почти все мужчины и женщины. Не запрещалось курить и детям.

В чумах загремела посуда – сигнал к вечерней трапезе. Появляются женщины. Они несут потки с продуктами, туески и камаланы – маленькие меховые коврики, сшитые из шкур, содранных с голов сохатых и оленей. Матерям охотно помогают проголодавшиеся дети. Они выстилают свежим лапником «стол», на котором будет трапеза.

Ожила стоянка. Все подступили к костру. Меня не покидает любопытство, желание увидеть что-то из прежних обычаев лесных кочевников.

Тут старое и новое вперемешку. Сукна, ситцы, пестрые платки, фабричная обувь уживаются с национальной одеждой и обувью, сшитой из самодельной замши, очень удобной в тайге. Эмалированная посуда и берестяные чуманы – посуда древних времен. Цветные ватные одеяла в одних свертках с медвежьими шкурами. Аппетитные, подрумяненные и пышные лепешки, искусно выпеченные по способу предков на деревянных прутьях. Они гораздо вкуснее испеченных на сковородках.

За «столом» распоряжается старуха. Сулакикан и Сетья хлопчут у котлов, вытаскивая огромные куски ароматного мяса, рассекают их на части, раскладывают по чуманам и тут же успевают отпустить звонкие подзатыльники нетерпеливой детворе.

Сетья – женщина небольшого роста, немного моложе Сулакикан, очень смуглая, дышащая свежестью и здоровьем, с резкими чертами лица и влажными, чуточку пухлыми губами.

Все женщины выглядят опрятными. На них широченные хлопчатобумажные, как у цыганок, юбки и светлые кофточки. Все в длинных шароварах. Обуты они в легкие летние олочи, сшитые из лосевой или оленьей замши, расшитые красивым орнаментом, искусство которого идет, несомненно, из глубокой старины.

У Сетьи медное кольцо на указательном пальце правой руки; кажется, только что надела и довольна, что я заметил его. Распустив юбку, она плавно опускается возле своих детей, подтаскивает к себе чуман с горячим мясом.

Сзади слышались легкие шаги. К костру шла молодая беременная женщина. Мы ее видим впервые. Это Инга. Она выглядит совсем девчонкой, хорошо сложена, крепкая, гибкая, с походкой серны. Под тонкой потертой кофточкой вздрагивают ничем не стесненные тугие груди. Круглый живот затянут черным ситцевым лоскутом. Подойдя к «столу», женщина в нерешительности остановилась.

Мы с Павлом не сводили с нее глаз. У Инги прелестное, свежее лицо. На бронзовых щеках, освещенных мерцающим светом костра, густой брусничной румянец. На шее у нее ожерелье из старинных серебряных монет и какая-то брошка на груди, тоже, видимо, сейчас приколота. Она молчалива и грустна.

Женщины заканчивают дележку мяса. Мужчины собрались у костра, ждут приглашения. С первого взгляда все эти пастухи-кочевники кажутся необщительными, даже замкнутыми людьми, но когда узнаешь их ближе, то чувствуешь, что в каждом из них бьется доброе сердце.

Из темных убежищ стоянки к костру подступают голодные собаки. Их очень много, все разношерстные, худые.

Круглая луна серебрит поляну. Небо слабо светится от редких звезд. В тишине ночи сказочными кажутся остроглавые жилища пастухов, мешанина все еще не разобранных вьюков и скопище плосколицых людей, окруженных собаками, оленями и освещенных дрожащими бликами огня. Мы как будто очутились в далеко-далеко ушедших временах.

Лангара садится на шкуру, поджимает под себя ноги. Она показывает мне место слева, и я покорно опускаюсь на землю. Рядом со мною усаживает Павла и Долбачи. Справа – своего глухого старика. Молча, движением головы, подает знак остальным садиться. Она не расточает слова. Ее власть безгранична. Здесь, видимо, царит матриархат. Остальные рассаживаются семьями, плотным полукругом к костру, одни на принесенных камаланах, другие на лиственничной подстилке, брошенной на землю, или на чурбаках.

Смолкает говор. Стихает детвора. Начинается трапеза.

Перед каждой семьей стоит берестяной чуман, наполненный аппетитно пахнущим горячим оленьим мясом. Лангара долго роется заскорузлыми пальцами в своем чумане, кладет перед собою кусок грудины – жирный и сочный. Мне дает большую кость и ребровину. Карарбаху кладет совсем немного мякоти, меньше того, что получили дети.

Я замечаю это, и мне становится неловко перед стариком. Не из-за нас ли он не получил положенную ему долю? Пастухи ведь не ждали гостей. Отрезаю от своей порции кусок мякоти, хочу передать его старику. Но мою руку отводит Лангара. Она отбирает мясо и кладет его мне обратно. Это продельвается так властно, что я не осмеливаюсь настаивать на своем. Недоуменно смотрю на Лангару, но она не собирается давать объяснений.

Все дружно едят. Слышатся удовлетворенные вздохи, сладостное чмоканье и хруст костей. Дети во всем подражают взрослым. Тут их не упрашивают есть, никто не кладет им лепешку в рот. Они прекрасно знают, что за столом мешкать нельзя, останешься голодным. Потом лей слезы, реви сколько угодно, ничто не поможет. С ранних лет эти дети начинают ценить пищу, относятся к ней с величайшей бережливостью.

Рыхлый туман встает в сырых ложбинах. От него веет такой же древностью, как и от стойбища.

Я слежу за Битыком. Он подбирает под себя ноги, развязывает на груди ремешки, стягивает дошку: так, видно, ему вольготнее. В одной руке мясо, в другой ломоть пшеничной лепешки. Острыми зубами он рвет мясо, глотает кусок за куском, заедая лепешкой, а черные глаза уже высматривают в чумане очередную порцию. Вижу: нацеливается на мозговую кость, торчащую из груди мяса, – самый лакомый кусочек, и воровски косит глаза на старшего братишку, сидящего рядом. Кажется, и тот заметил кость, насторожился, тоже не сводит с нее глаз.

Битык перестает жевать и стремительно, по-ястребиному, набрасывается на кость. Тут же его руку ловит братишка. Начинается возня. Но никто из взрослых не обращает на них внимания. Битык вырывается из объятий брата, отталкивает его плечом и крепко держит кость в своих руках. Только теперь мать хватается старшего и награждает звонкой оплеухой.

– Почему же ты одного наказываешь? Виноваты оба! – обращаюсь я к Сулакикан.

Она недоуменно смотрит на меня.

– Пусть знает – пища сама в рот не ходит. – И одобрительно кивает Битыку, занятому костью.

В разговор вмешивается старуха. Не отрываясь от еды, говорит:

– Сейчас мать его наказывает, да мало, надо больше, раз не может добыть себе пищу, а потом тайга будет наказывать, она не пожалеет.

Детвора смеется... Старший братишка Битыка – Илько – посрамлен, даже за столом он не может добыть себе лакомый кусок!

Из глубины ночи доносится перезвон колокольчиков. Он наполняет воздух хрустальной россыпью причудливых звуков, затихающими вдали певучими аккордами.

Трапеза продолжается.

Мясо дикого оленя осенью особенно вкусно. В нем и сладость ягеля, и тончайший аромат альпийских лугов, и еще что-то идущее от леса и присущее только свежей оленине. Эти удивительные качества еще больше ощутимы, когда мясо подается в отварном виде, как сейчас. И варят его таежным способом, в прозрачной ключевой воде, на лиственничном костре, без каких-либо специй.

Самым вкусным считается у эвенков оленин язык, грудинка и ребра, когда на них тонкие слои жира чередуются с мясом. Знатоки предпочитают свежую теплую печенку. В большом почете у кочевников и оленя голова. Непосвященному человеку трудно представить, какое это лакомство. Тут и хрящи, и жирные «щеки», и мозги, и мягкий, маслянистый язык. Чего только нет! А сладкие, сочные оленины губы – это же настоящий деликатес!

Все взрослые, и мужчины и женщины, во время еды ловко работают ножами, отсекают мясо кусок за куском прямо у рта. Что и говорить, мастера! Лишь Лангара, чтобы продлить удовольствие, не торопится. Ест без ножа, медленно, аппетитно причмокивая. По губам и по рукам, по подбородку у нее стекает жир. Лицо старухи сытое, довольное.

Заметив возле меня кусочек оброненного мяса, Лангара подбирает его, протягивает мне.

– Если сыт, пищу не бросай, для нее настанет завтрашний день.

– Ты права, Лангара, я не заметил, как уронил.

– То-то! А это не будешь? – спрашивает она, показывая на кость, которую я только что грыз, и, не дожидаясь ответа, подбирает ее. Как хороший мастер, она внимательно осматривает кость со всех сторон и начинает обстукивать обушком ножа, определяя по звуку, не осталось ли где в складках или в стволе кости лакомства. И не находя ничего съедобного, передает кость глухому старику, кивнув в мою сторону. А около него уже горка набросанных костей.

Карарбах тоже осматривает ее, достает длинный, узкий, как шило, нож, точно зонд, вводит его внутрь кости и что-то выскребает.

Тут я вижу, как Битык, воспользовавшись тем, что все поглощены едой, незаметно подползает к старику, толкает его ручонкой в бок, кладет перед ним не совсем еще обглоданную кость. На лице Карарбаха появляется подобие улыбки. Их взгляды встречаются. Старик и ребенок довольны. Но все это не ускользает от Лангары. Она сердито отбирает у старика кость. Битык еле успевает увернуться от ее шлепка.

Лицо Карарбаха мрачнеет. Но он не смеет протестовать.

– Лангара, почему ты не позволяешь давать Карабаху даже кости? Разве он не заслуживает получить такую же долю мяса, как и все мы? – спрашиваю я.

– Так лучше ему, – отвечает она спокойно. – Сытый становится ленивым.

– Но он же совсем голодный. Ты ему даже лепешки не дала.

– Не все меряй брюхом, – отвечает он. – Амакан<sup>5</sup> всю зиму ничего не ест, однако все его боятся... Тебе надо знать, у кого есть все, тот не научится скрадывать зверя, делать ловушки, разбираться в следах. Он даже огня себе не разведет. А без этого в тайге человек что дупляная лиственница, валит ее ветер куда хочет. – Немного помедлив, она продолжает: – Если Карарбах кормить досыта, он скоро уйдет к предкам.

– Старик болен? – встревожился я.

На лице Лангары досада. Она дожевывает мясо, торопливо вытирает рукавом губы.

– Нет, он никогда не болеет. Но послушай меня, его отец, – она тычет пальцем в старика, обсасывающего кость, – когда имел столько лет, как Карарбах, еще меньше получал пищи на стойбище и досыта ел, только когда сам добывал зверя. Он все время охотился, шибко много ходил, искал пищу и долго жил, как десять раз олень.

– Десять поколений! Это сто лет.

– Может, и больше.

– Так что же, по-твоему, помогло ему прожить столько лет?

– Ты как няня<sup>6</sup> глупый, – сердится старуха. – Потому, что голод не давал ему сидеть в чуме, велел ходить по тайге, искать зверя, птицу. Он таскал тяжелую побрякушку, спал на морозе, не ленился, много работал. Человек и в старости должен уважать труд, как и пищу. Такой долго живет. Это ты хорошо помни.

– Значит, ты не кормишь Карарбаха, чтобы он не ленился, ходил на охоту?

– Вот теперь ты правильно говоришь. Не думай, что мы жадные, мяса ему не даем. Нет, оборони бог! Так лучше, чтобы его не скоро забрала смерть. Раньше было: если старик лишний в чуме, понимаешь, без пользы жил, его хорошо кормили, не давали работать, и он скоро пропадал. А Карарбаху нельзя уходить к предкам. Он лучше всех знает, где есть хорошее пастбище, как лечить оленей, где добыть зверя. Без него нам всем худо будет кочевать в тайге. Лучше половины стада потерять, чем Карарбаха. Но будет сытый – непременно обленится, забудет тропы, ноги потеряют силы, не станет охотиться, скоро пропадет.

– А так вы его заморите голодом, – перебиваю я старуху.

– Что ты! – протестующе замахала она руками. – Если старик шибко хочет мяса, он идет на охоту. Когда ему есть фарт и он добудет зверя, там он один раз кушает, сколько хочет брюхо, и свежей печенки, и губы, и теплой крови...

Лангара достаёт из чумана кусочек мяса и кладет в рот, долго сосредоточенно жуёт.

– Кому никто не помогает жить – того старость боится, – продолжает она. – Ты был на стойбище Альгома? Нет. И не знал старика Тешку? Он намного старше Карарбаха, а еще не ел печенку от чужой пули, ни у кого не просил пищи. Сам кормит все стойбище. Больше его никто не убивал зверя. Таких стариков уже не будет.

– Почему?

– С детства он был сирота, никто не жалел его, постоянно говорил: «Если хочешь сытым быть – иди тайга». И тайга сделала его сильным... Карарбах тоже так жил. Когда маленький был, отца на берлоге амакан задрал, мать померла, его взяли в чужой чум. Потом на стойбище злой дух пустил мор, все умерли, только Карарбах остался маленький, как Битык. Все лето в тайге один жил, все равно что медведь. Не пропал, выжил. А осенью бедный эвенк нашел его, но кормить было нечем. Карарбах сам добывал себе мясо, рыбу и даже

---

<sup>5</sup> Амакан – медведь.

<sup>6</sup> Няня – теленок.

мало-мало помогал бедному эвенку. Потом он стал большой охотник. Много людям давал пищи, шкур, у костра всегда было тепло. Но не думай, что ему легко жилось. Он замерзал в снегу, тонул. Постоянно смерть ходила его следом. Видишь, у него нет ушей, – Лангара срывает с головы Карарбаха шапку – вместо ушей были видны слуховые отверстия, густо заросшие волосами. – Он пропадал голодный, отрезал их, съел и остался жить. Ты бы разве догадался?

– Конечно, Карарбах и Тешка из Альгомы – опытные люди, прошли трудную жизнь, но сколько таких, как они, не пережили, погибли! Может быть, в те времена, когда человек был предоставлен сам себе и надо было воспитывать его в духе невероятных испытаний, иначе действительно ему бы не выжить, но теперь к чему это?

Лицо Лангары вытягивается, в глазах вспыхивают недобрые огоньки. Она тычет пальцем в сторону детей, говорит резко:

– Этим худо будет жить, шибко худо! Они пойдут в интернат, все будут учиться, за это большое спасибо советской власти, раньше такого не могло быть. Но им в интернате будут показывать легкую тропу, не будут учить, как жить и добывать пищу, пушнину в тайге, пасти оленей. Разве это хорошо? Потом придет день, дети пожалеют, не скажут спасибо.

– Это все, Лангара, наладится, – пытаюсь успокоить старуху. – Да и в будущем им вряд ли придется столкнуться с теми трудностями, какие пережили вы. Главное другое – в интернате дети живут в нормальных человеческих условиях, одеты, сыты, учатся.

– Э-э-э... – Она безнадежно машет рукой. – Говорю, не жалею тех, кому худо живется с детства. Голод сделает их хорошими охотниками, один станет два-три стойбища кормить.

– Но согласись, Лангара, новое время своего требует. Детям надо учиться не только в интернатах, но и в институтах, чтобы делать жизнь лучше. Ты сейчас не станешь добывать огонь, как твой дед, у тебя есть спички. Ты давно не охотишься с самострелами. А радио в чуме?! Такое твоей бабушке и не снилось! А твои внуки, может, молнией повелевать будут и станут ездить на нартах-самокатах. Чего доброго, и на Луну полетят!

– Ты правду говоришь. Может, и эвенки полетят на Луну, да не там их родина. Кому бросишь тайгу, оленя, зверя? Амакану отдашь? Помни: лесная птица не делает гнезда на болоте. Место эвенка тут, где лес, сокжой<sup>7</sup>, белка. Пусть эвенков хорошо учат, как лючи, однако и в интернате им надо постоянно говорить, как следить соболя, делать ловушки, бороться с пургой, голодом. Детям будет хорошо от этого, и тогда пускай ходят на Луну, да все равно в тайгу вернуться жить. Вот и подумай, что тебе толмачит старая Лангара.

Старуха умолкла, отвернулась от меня, и я понял, что разговор окончен. Слабые отблески пламени трепетали на ее морщинистом лице.

Лангара родилась и прожила всю свою жизнь в зарослях заболоченной тайги, ее представление о мире ограничивается видимыми горными кряжами да топкими марями, по которым эвенки кочевали с оленями. Она верна старому, обычаям предков, но новое, что пришло к лесным кочевникам после революции, не отвергается ею. Нет. Однако непривычные, никогда раньше не возникавшие мысли пугают ее новизной. Она хочет разобраться, докопаться до истины, переживая смутную тревогу за судьбу детей.

Мне почему-то показалось, что я давно знаю ее – бесхитростную, открытую и чистую в своих помыслах. Сколько она пережила горя в этой лесной глуши, сколько накопила за прожитые годы житейского опыта и теперь щедро раздает его своему потомству, пытается утвердить в нем любовь к родной тайге. Она подкупила меня материнской тревогой за завтрашний день и своею добротою. Эвенки вообще добры и доверчивы, как дети. В этом убеждаешься с первого дня встречи. И не найдешь преданнее друзей, чем эвенки, когда они видят доброжелательное отношение к ним.

---

<sup>7</sup> Сокжой – дикий северный олень.

В черных тучах утонула луна, и небо дыхнуло холодом. Исчезли лиловые тени деревьев. Из ближних перелесков к стоянке подступил ночной тяжелый мрак. Где-то за ним слышался еле уловимый перезвон бубенцов.

Сулакикан налила мне и Лангаре по большой кружке чаю.

Налетевший ветер, злой и холодный, качнул ночной покой, тоскливо завыл по перелескам. Старик перестал скоблить кость, поднял голову, обвел глазами беззвездное небо, что-то пробормотал, ни к кому не обращаясь, глухим, хриплым голосом. И сразу все почему-то заспешили. Женщины отбирали у детей кружки с недопитым чаем, собирали посуду и расходились по чумам. Мужчины тоже поднялись и стали складывать горкой неразобранные вьюки. Над стоянкой послышался хищный крик ночной птицы.

– Дождь будет, убирай потку, – сказала Лангара.

Мы с Павлом встали. Вокруг действительно произошла какая-то перемена. Исчез туман. Воздух отяжелел. Черное небо слилось с черной землей, поглотило горизонт, скрыло вершины огромных лиственниц, окруживших стоянку. Только чумы еще виднелись в отдалении и при свете костра казались насыпанными курганами.

Лангара тяжело поднялась, отряхнула подол юбки, взглянула на небо и, никому ничего не сказав, чем-то растревоженная, медленно поплелась в свой чум.

Опустела стоянка. Смолкли людские голоса в чумах.

У костра остались мы с Карарбахом. Он сидит на прежнем месте, сторбившись, как лиственничный пенёк, вытянув к огню босые ноги. В складках его сухих, серых губ, в тупом подбородке есть что-то мужественное, не тронутое старостью. Над ним, как и над Лангарой, властны законы тайги, злых и добрых духов, законы обычаев предков. Но и этот семидесятилетний старик тоже живет не только прошлым, а и заботами сегодняшнего дня.

Одежда на нем мне уже не кажется лохмотьями. Скорее она свидетельство его долгих походов. Дошка действительно старая-престарая. Ее нещадно мочили дожди, сушили морозы, рвали сучья, много раз она была прострелена угольками костра, и большие латки на груди старика выглядят, как медали за подвиги. Много зверя добыл старик, мог бы уже давно сменить эту сильно поношенную дошку на новую, но она, видимо, дорога ему, в ней Карарбаху теплее и привычнее.

Старик все еще занят костью. Он долго ковыряется острием ножа внутри ее и, вытаскивая нож, облизывает влажный конец, жуёт пустым ртом. Опять долго скоблит, вертит перед глазами и, наконец, без сожаления бросает в сторону.

Лежащий вблизи Загря кидается за костью, оглянувшись на собак, готовится к защите. Ни одна из них даже не пошевелилась. Все они смотрят на ошетилившегося Загрю и, вероятно, недоумевают: какой глупый кобель, не знает, что после старика на кости ничего не остается!

Загря, кажется, догадывается, что попал впросак, постыдно опускает хвост и уходит с костью на свое место. Не грызет ее, а кладет рядом.

Откуда-то из вороха вещей появляется заспанный щенок. Он сладко и громко зевает, но вдруг видит Загрю. На морде щенка явное удивление. Он весь вытягивается, пытаясь лучше рассмотреть собрата, и от щенячьего восторга у него дрожит конец хвостика. Осмелев, он подскакивает к Загре, лижет его в нос, радостный и довольный новым знакомством. Но тому не очень-то нравится эта ласка, он сердито отстраняется, даже скалит зубы, а щенку, вероятно, кажется, что Загря смеется. Он еще больше липнет к кобелю. Тот не выдерживает, спасается бегством. Щенок хватая кость и услужливо несет ее следом за Загрей.

Меня все это смешит и рассеивает мрачное настроение.

С болот доносятся тяжкие вздохи. То ветер шарит по дуплам старых лиственниц. Заморосил дождь, густой и мелкий. Колочие капли крапят лицо.

– У микрофона врач! – кричит мне Павел, выглядывая из палатки. Он после долгих усилий, через ведомственные станции, все же добился связи со штабом.

Одиннадцать часов ночи...

Забираюсь к радисту, приникаю к микрофону. Слышимость отличная; кажется, врач стоит рядом.

– Здравствуйте, Вера Ивановна! Нахожусь на стоянке пастухов-эвенков. У них умирает трехлетняя девочка. Поблизости нет врача. Помогите спасти ее.

– Что с ней?

– Высокая температура, кашель, тяжелое дыхание. Ребенок сильно истощен. Нос и губы синие.

Вера Ивановна долго молчит.

– Очень трудно что-либо определить. Скорее всего у девочки... воспаление легких. Что давали ей из лекарств?

– Аспирин два раза.

– Через некоторое время дайте еще аспирин с пирамидоном. Затем через каждые три часа впрыскивайте пенициллин. Вы знаете, как это надо делать?

– Нет, не знаю, да и пенициллина у нас нет.

– Если у ребенка воспаление легких, его спасет только пенициллин.

– Значит, безнадежно...

Опять молчание.

– А у вас есть пенициллин? – наконец спрашиваю я.

– Конечно, есть.

– Тогда позовите к микрофону Плоткина, – прошу я. – Здравствуйте, Рафаил Маркович! Надо завтра утром, и как можно раньше, доставить нам на самолете пенициллин. Разрешаю снять машину с любого объекта. Наше местонахождение и условные сигналы вам передаст радист.

– Я вас понял. Но у нас идет дождь. Боюсь обнадежить. Будем надеяться на утро.

Возвращаюсь к догорающему костру. Старик в одиночестве пьет чай. Лицо его застыло, и только брови шевелятся, то сомкнутся, то поднимутся, тревожа морщины на лбу. Мне хочется узнать, где бродит сейчас Карарбах в своих думах, что видит: сегодняшней день или далекое прошлое, какой по счету мысленно ведет караван по чужим, незнакомым местам?..

Как много мог бы он рассказать!

Но старик молчит. Он подносит к губам блюдце с горячим чаем, дует на него, отхлебывает... Вдруг настораживается, руки застывают с блюдцем у открытого рта, веки приоткрываются, он весь обращен к лесу. Неужели до его давно бездействующего слуха долетел какой-то звук? Да, старик поворачивает голову то в одну, то в другую сторону и, кажется, сейчас радостно воскликнет. Но нет. Вот уже снова на его лице полная безмятежность, и он уходит в себя. Человеческие голоса, шум леса, песни птиц, грозовые разряды, шелест падающих листьев, рев зверя, грохот горных обвалов – все звуки живого мира недоступны ему давно.

Дождь продолжает моросить. Гонит его с гор ветер. Вместе с туманом уходит он в глубь равнины. В мокрой ночи сникли деревья, прилегла трава. Все уснуло, только ручей тяжело вздыхает в камнях, да иногда доносится стон падающей лесины.

Старик кашляет отрывисто, надрывно, ежится от холода под старенькой, латаной дошкой.

Бесшумными шагами подходит Лангара, накидывает на плечи старика плащ.

– Чего мокнешь? – спрашивает она, присаживаясь на корточки возле меня. – Старика не пересидишь.

– Жду, когда заговорит. Хочу попросить его рассказать о своей жизни.

– Э-э-э... – качает головою старуха. – Напрасно ждешь. Говорю, давно он глухой, от этого потерял слова, а без них как расскажешь про жизнь?

– Так он и немой? – удивился я.

– Без слуха язык заблудился, старик забыл слова, а те, что он говорит, понятны только нам, пастухам. Так что не жди, уходи спать.

Лангара затягивается долгим, ленивым зевком, затем подбрасывает в костер дров, поправляет плащ на плечах старика и, достав самодельную трубку, набивает ее табаком.

– Лангара, сколько тебе лет? – любопытствовал я.

Старуха выхватила из жара горящий уголек, прикурила.

– Кто их считал?.. Давно бы надо умереть, да никак не соберусь. Сам видишь, Инга должна рожать, она еще не была матерью, как оставишь ее? Аннушка умирает, хоронить ее надо по нашим обрядам, а кто их знает, кроме меня?! И стадо не бросишь... Да и раньше тоже некогда было годы считать.

– Ты родилась в этом крае?

– Тут, на Худорканских марях. По этой земле кочевали и наши предки. Старики говорили, еще раньше, давно, как будто на Амуре жили. Знаешь такую реку?.. Оттуда наша родовая, – и Лангара опускает голову, уходит в грустные воспоминания. Потом начинает говорить о тяжелом прошлом своего народа, загнанного жестокой несправедливостью на эту бесплодную землю, покрытую черными болотами. Ее монотонный голос возрождается, звучит уверенно, гневно, то стихает до шепота, и тогда слышно, как на ее плечи падают с веток тяжелые капли влаги.

Как горьки были ее воспоминания! Она встала и, не пожелав доброй ночи, ушла, встревоженная, спать.

На мне отяжелела мокрая телогрейка. Неохотно покидаю нагретое место и, махнув старику рукою – дескать, спокойной ночи! – отхожу от старика.

Но прежде чем забраться в спальный мешок, иду проведать больную.

В чуме тишина. Свет фонаря выхватывает из темного угла дремлющую у изголовья ребенка Сулакикан. Она, вздрогнув, открывает глаза, всплескивает руками и заслоняет ими дочурку, будто защищая ее от Харви. Но, узнав меня, мать припадает к груди больной. С лица ее медленно сходит испуг.

На оленьей шкуре безвольно распласталось щупленькое тельце девочки, истощенное болезнью. Жар у нее как будто уменьшился, но дышит она тяжело, отрывисто, ей не хватает кислорода. Глаза закрыты. Пульс и теперь не прощупывается. Жизнь ее на волоске, вряд ли поможет и пенициллин.

Ничего не сказав Сулакикан, выхожу из чума.

Карарбах все еще сидит у костра один, что-то бережно держит на ладони левой руки. Подхожу ближе. Это деревянный божок, вырезанный из лиственничного дерева. У него плоское лицо, длинное туловище и совсем короткие ноги. Старик щедро смазывает его горячим растопленным жиром. Долго растирает, что-то горячо вымаливает у своего идола.

Древностью повеяло от этой сцены.

Я ушел, не замеченный стариком.

Ни звука, ни шороха, кроме морозящего дождя. Осторожно, не нарушая всеобщего покоя ночи, подбираюсь к себе в палатку. Зажигаю свечу. По привычке достаю дневник. Хочется, не откладывая, записать в него события этого необыкновенного дня.

«...Из разговора с кочевниками я понял, что нам на Ямбуе предстоит вступить в мир каких-то непонятных явлений, полный опасности. И прежде всего надо решить, способны ли мы на поединок с неведомой силой, даже если она предстанет перед нами в образе злого

духа – Харги? Может быть, благоразумнее немедля повернуть назад и, не теряя времени, снарядить более подготовленный отряд?

Назад... Нет, это невозможно!

Как хорошо, что мы повстречались с пастухами-эвенками! Нам не хватает их опыта, знания тайги. Какими беспомощными мы кажемся в сравнении с этими «дикарями», затерявшимися в заболоченных безлюдных пустырях! Мы это, безусловно, почувствуем в первый же день, как только окажемся возле Ямбуя. С ними бы идти туда!.. Как жаль, что наша встреча коротка!

Я впервые узнаю об эвенкийском законе долголетия. Можно соглашаться и не соглашаться с Лангарой по поводу ее «теории», можно даже утверждать, что отношение к старикам не очень-то доброжелательно – такое впечатление создается. Однако «теория» не выдумана Лангарой, а подсказана самой жизнью и, вероятно, проверена не на одном поколении эвенков.

«Истинную мудрость можно постигнуть лишь путем страданий. Только нужда и страдания могут открыть человеку то, что скрыто от других» – так считалось с древних времен у северян. Что ж, эвенки слишком долго страдали, чтобы законы их жизни были мудрыми. Разве не верно, что сытый человек – ленивый. И чтобы продлить жизнь, надо действительно не баловать себя и в преклонном возрасте не отказываться от привычной физической нагрузки, тем более в условиях жизни в тайге, где все трудно дается.

В этом, может быть, мудрость долголетия.

Невольно думаешь и о другом. Ведь сама-то Лангара совсем не похожа на своих предшественников, бесправных людей, покорных судьбе. Живет в новом мире, пытается его понять, найти место в нем для себя и своего потомства. И не это ли главное, что дала ей советская власть. В то же время она не представляет жизни вне тайги для эвенков, и потому понятно ее желание сохранить опыт своего народа, облегчающий жизнь человека в лесах. И это, мне кажется, очень хорошо!»

Я кончил писать и задумался. Неожиданно в чаще, рядом с жильем громко просвистела пичуга. Неужели уже утро? Выхожу из палатки. Тот же мрак, та же тишина. На востоке еще стоит синяя тьма. Дождик давно перестал. В лиловой мгле дремлют перелески, и одинокая зеленовато-бледная звездочка глядит сквозь редкую ткань туч. На соседних неведомых болотах опять встает туман – вестник приближающегося холода.

У огнища, прикрытого пеплом, лежит на оленьей подстилке старик, скрюченный предутренней стужей. Голова и плечи чем-то укрыты, а голые его ноги, костлявые, мозолистые, со сбитыми пятками, лежат прямо на земле, опухшие изморозью. «Не умер ли старик?» Бросаюсь к нему...

Нет, Карарбах спит, дышит ровно.

Разжигаю костер. От тлеющих головешек он быстро разгорается, вокруг теплеет воздух, иней на голых пятках старика исчезает. Шевелятся оттаявшие шишковатые пальцы, медленно, натужно разгибается спина. Карарбах потягивается и, не просыпаясь, поворачивается; грудью к огню, сладко вздыхает.

Один сиж у тлеющих угольков костра. Тишина такая, что ручьи гложут и береговая осока не смеет пошевелиться.

Снова и снова задумываешься над тем, что ждет нас там, на Ямбуе? И слово «Ямбуй» для меня звучит как нечто грозное. Оно вызывает в воображении картину первобытной природы, каких-то допотопных животных, и кажется, что нас там ожидают необычные приключения, может быть, даже встреча с дикими племенами, затерявшимися с древних времен в этих топких пустырях.

Тепло костра незаметно уводит меня в мир грез. Мне представляется стоянка этих людей, одетых в звериные шкуры и обитающих под низким, сырым сводом пещеры. У костра

сидят женщины за выделкой сохатинных кож. Возле них резвятся малыши. Из ночной темноты подходит к костру старик. На крутых мускулистых плечах он принес огромную тушу снежного барана. За ним толпа мужчин, вооруженных копьями. Женщины издают призывный клич, детвора ликует. Из мрачной глубины пещеры появляются старики. Начинается пир. Все набрасываются на тушу, отрывают куски мяса, слегка поджаривают и тут же съедают. Белый бараний жир стекает у них по губам, по подбородкам, копится белыми узорами на шкурах, прикрывающих тело.

Почти потухший костер вдруг вспыхивает, наполнив ярким светом всю глубину пещеры. Я вижу расставленную по карнизам примитивную утварь, стрелы, рогатины, незнакомые поделочные инструменты. Но кто это в страшной, скрюченной позе лежит на каменном полу? Присматриваюсь – человек! Руки и ноги связаны сыромятными ремнями, рубашка и штаны изорваны. Неужели Евтушенко? Так и есть, он! Узнаю рыжебородое лицо, широченные кисти рук со вздутыми от ремней венами. Он стонет... Вижу, к нему подходят двое рослых парней, берут его на руки, несут на жертвенник, сложенный из плит. Из толпы выходит старая женщина – Лангара. Глазам не верю! Старуха костлявыми пальцами срыгает с Евтушенко одежду, смазывает его тело горячим жиром, и я вижу, как кипит он на его животе. Потом все взрослые и дети обкладывают жертвенник сушняком. Лангара, вскинув к небу руки, произносит заклинание и поджигает от головешки сушняк. Пламя покрывает Евтушенко. Слышу его душераздирающий крик. Сам чувствую, как огонь обжигает всего меня, нечем дышать... И я... пробуждаюсь.

## Глава четвертая. Тревоги пастушки Лангара

Сквозь ситцевую стенку полога сочатся свежесть хвойного леса и терпкий запах багульника. Чувствуется, как сыро в перелеске после ночного дождя, страшновато высухнуть наружу, сразу окатит холодом. Но что поделаешь, надо выбираться.

За чумами еще сумрачно, еще ничто не различимо, кроме вздыбленных гор в синей дали и хрупких огоньков в небе. В этот переломный час между ночью и днем голоса и шумы приглушены, белое и черное еще слито воедино. Всюду покой и сон. Однако обитатели тайги давно уже проснулись, но маются, ждут, когда тронется мрак и уйдут из перелеска подозрительные тени.

Старика уже нет у затухшего костра, куда-то исчез. Пастухи ушли собирать стадо.

Захожу в чум к Аннушке. Ей не стало легче, хотя температура немного спала. Девочка по-прежнему никого не узнает, ничего не ест. Стеклянные глаза ничего не выражают. Вряд ли она выживет. Без всякой надежды даю ей лекарство и выхожу, смотрю на небо. Как назло, у горизонта появились дождевые тучи. Они низко плывут над сонной землей. Уже постукивает гром. «Силы небесные, отведите от нас грозу, пропустите самолет, а потом пусть дождь льет сколько угодно», – невольно шепчу я.

В эту минуту я, кажется, сам становлюсь суеверным и готов вымолить у духов жизнь ребенку.

Павел раздувает костер. Пробуждаясь, задымились чумы. Светлой полоской обозначился восток. Нагорье раскрывалось темно-лиловыми болотами, пурпуром холмов и полосами заиндевших марей.

«Курлы... курлы...» – прощаются с клюквенными марями журавли.

Белые лебеди – властители неба, молча плывут в предгрозовой синеве. В тяжелых взмахх их крыльев – царственное величие. Они несут земле рассвет.

Уходит ночь. Уходят тени... Что-то неуловимо прекрасное нарождается в полусвете зари, сочится на волнистую землю. Ветер приятно веет в лицо с далеких гор.

Пастухи, узнав, что должен быть самолет с лекарствами для Аннушки, всполошились. Им трудно представить, как он сядет на болото или топкую марь.

Ко мне подошла Лангара, доверчиво дотронулась до моей руки.

– Лючи, спаси Аннушку! – Ее голос дрогнул, сухие губы сжались.

– Этого я и хочу. Вся надежда на самолет, Лангара. Лишь бы он не опоздал... Но скажи, если мы спасем Аннушку, ты согласишься, что нет злых духов?

Старуха недружелюбно взглянула на меня.

– Ты только не подумай, что я ставлю условие. Нет. Я говорю так потому, что знаю, сколько несчастья принесли вам эти несуществующие духи, вера в них.

– Ты хочешь разогнуть дугу, чтобы не поломать ее. Но так не бывает. – И она уже хотела уходить.

– Послушай, Лангара, объясни мне, пожалуйста: эвенки были православными, ты и Карарбах, вероятно, крещеные? Почему же вы не верите в Христа, продолжаете поклоняться духам, богам своих предков?

– Кому нужен твой Христос? – Она удивленно глянула на меня. – Он шибко далеко на небе, чтобы знать горе людей, как выпросишь у него добра? Другое дело духи: они живут в тайге вместе с нами, все видят, все знают и не терпят, чтобы над ними смеялись. Разгневаешь – они пошлют грозу, мор, ребенка отнимут, угонят оленей. А хорошо о них будешь думать – получишь не одну удачу. Им все дано. Говорю тебе, они хотят взять Аннушку, видишь, дождь идет, не хотят пустить сюда самолет с лекарствами.

– Это не в их власти.

Лангара отмахивается от меня, уходит к чуму.

Подхожу к костру, у которого возится Павел.

– Наши ребята уже шанежки едят со сметаной. Вечером к девчатам пойдут, а мы... – ворчит мой спутник, наваливая конец бревна на огонь.

– Не горюй, на Ямбуе долго не задержимся.

– Вы думаете? – Он вопросительно смотрит на меня. – Хорошо, если на гольце какие-то злые духи, с ними-то быстро справимся. А вот если там бандиты?..

– Как-нибудь и с ними справимся. Вот увидишь, Павел, скоро у тебя будет свидание со Светланой.

– С такой программой согласен, – радостно говорит он и задает мне деловой вопрос: – Что варить на завтрак? Нынче мы на своих харчах.

– Кашу бы пшеничную, а?

– Опять кашу... От такой пищи ноги уже не ходят.

– Ничего, дойдем до места, там непременно охотой займемся.

– Вы думаете, добрые духи подарят нам зверя!

– Там, где зло живет, есть и добру место. Авось не пропадем!

– Чем на авось надеяться да гадать, лучше нам взять с собою глухого старика, с ним надежнее будет по всем статьям. В тайге он как дома. Неизвестно, как долго мы там пробуем, на этом самом Ямбуе...

– Пожалуй, ты прав, – перебиваю я Павла. – Карарбах, видать, хороший охотник, большой следопыт. Но, боюсь, старик человек суеверный, вряд ли согласится пойти с нами.

– А вы попробуйте его уговорить.

Утро в полном разливе. Морозит. Нежнее и чище становится голубизна далекого неба. Редуют перелески, пронизанным светом зари, все более четко вырисовываются на густо-красном фоне деревья.

Из чума показывается Лангара. Она идет к нам мелкими неторопливыми шагами. Что-то несет.

– Действуйте насчет старика через нее, – советует Павел, кивая головой на старуху. – Она ведь тут за главного командующего.

– Это вам! – кричит старуха, протягивая куски вяленой оленины как бы в знак примирения.

– Спасибо, Лангара, но нам нечем отблагодарить тебя. Деньги возьмешь?

– Когда люди живут в одном стойбище, разве мясо продают?

– Но ведь гость не нахлебник!

– Э-э, лючи, надо знать, что без пищи никто жить не может, но не у каждого она есть в котомке. Убил зверя – твой фарт, тебе спасибо, а мясо всему стойбищу. Закон наших предков не позволяет одному брать себе воду и пищу, – и старуха сует мне в руки куски сушеного, приятно пахнущего дымком мяса.

– Спасибо тебе, Лангара, и за мясо и за мудрое наставление. Твои предки, завещавшие эту истину, были достойными людьми.

– Надо бы свежего мяса вам дать, да оно кончилось вчера, – говорит старуха, поднимая с земли упавший кусочек оленины, и отправляет его в рот. – Старик рано утром ушел с ружьем, тут близко сохатый постоянно жирует; может, удача будет, вернется вечером и еще вас угощать будем.

– Ему, глухому, видимо, трудно дается охота. Разве только скрадом он и может убить зверя?

– Что ты! – замахала руками старуха. – Скрадом сейчас не добыть сохатого. Это время лист на полу, тихо ходить нельзя, да и зверь сохатый, сокжой на месте не стоит, шибко ходит, грибы ищет, ни за что не догонишь! Карарбах промышляет зверя с собаками.

– Как с собаками, он же глухой?! Собаки в поисках зверя далеко уходят с глаз, а лая их старик и близко не услышит. Ты шутишь, Лангара.

Старуха рассмеялась. Голосистое эхо разнесло ее смех по близким перелескам.

– Ты совсем как муннукан<sup>8</sup>, думать не хочешь. Говорю, нужда многому учила людей. – Она достала из-за пазухи трубку, прикурила от лучинки и продолжала: – Когда Карарбах оглох, его все жалели, не давали ему мяса от другого охотника. Он голодал, долго думал, как жить. Потом догадался. Теперь берет на охоту две собаки. Одну привязывает к поясу, никуда не пускает, а другая бегаёт кругом, далеко по тайге, ищет зверя. Когда найдет и остановит его – лаёт. Другая собака на поводке у старика, тащит его на лай, приводит к зверю. Теперь понимаешь, каким хитрым сделала нужда глухого старика? А ты не веришь!

– У меня к тебе большая просьба, Лангара. Не сможете ли вы кочевать со своим стадом вместе с нами к Ямбуу, пусть старик поможет нам найти следы пропавших людей.

Она выпрямилась и ткнула пальцем в мою голову:

– Кто поверит, что в таком большом котле нет ума! Или ты сдурел, что ли? Даже худой человек не захочет сам идти к злему духу! – Старуха резко повернулась, пошла от меня.

– Не уходи, Лангара, еще есть разговор.

Старуха недоверчиво приостановилась.

– Говори, да не трать по-пустому слова. Карарбах на Ямбуу не пойдет, – отчеканила она.

– А если я отдам тебе Загрю?

– Загрю?! – обрадовалась Лангара, делая шаг в мою сторону. – Отдашь Загрю?.. – Но вдруг осеклась и ушла тихими, неуверенными шагами.

Павел поджаривал на углях вяленое мясо.

– Слышал? – спросил я у него. – Их на Ямбуу и калачом не заманишь.

– Пожалуй, и не стоит уговаривать. Не дай бог что случится, тогда вина на нас ляжет, – ответил он.

Утро расточает пурпур, золотит холодное болото, марь и могучие крылья беркутов, парящих в вышине.

Лучи яркого света обнимают землю и нежным прикосновением будят горы, леса, прогоняют туман, скопившийся на дне широких падей.

Легкий, почти прозрачный дым окутывает чумы, откуда доносятся крики детей, стук посуды и говор.

Из перелеска подходят олени. Животные шарят по стоянке в поисках солонцов и ложатся на землю.

А ручей под притихшим осинником шумит, плещется, зовет. От него тянет прохладой и запахом свежей травы, смешанным с запахом увядающих листьев.

– Через пять минут связь со штабом, будете что передавать? – спрашивает Павел, присаживаясь рядом со мною.

– Я вот о чем думаю: нас двоих мало, чтобы серьезно заняться расследованием на Ямбуе. Надо вызвать еще кого-нибудь из надежных ребят. Может, ты посоветуешь?

– Если техник Гриша Коротков близко работает, надо просить у него Елизара Быкова. Уж этот не подведет. Да и охота повидаться с ним. Мы ведь из одного села.

– Хорошо, запиши радиограмму: *«Штаб. Плоткину.»*

Помимо Петрика и Евтушенко, районе Ямбуе бесследно исчезли два эвенка при тех же загадочных обстоятельствах. Положение серьезнее, чем предполагали. Желательно отправить в мое распоряжение десятника Елизара Быкова с проводником-охотником, знающим район Ямбуя. В крайнем случае вместе с Быковым кого-нибудь другого, опытного. Еще раз

<sup>8</sup> Муннукан – заяц.

предупреждаю: всем подразделениям оставаться до полного завершения работ. Возможно, все будут привлечены к розыску погибших».

Иду к ручью умываться. Из-за лохматых вершин лиственниц выползло красное, как от натуги, солнце. Слепит глаза. Как приятно тепло первых солнечных лучей!

Горстями бросаю в лицо, на грудь текучий хрусталь студеной воды. До чего же она колючая, обжигающая, сразу снимает сонливость.

Меня встретила Лангара.

– Мы сегодня ходить будем вашей тропой, потом завтра свернем на свою.

– Очень хорошо! – обрадовался я. – А старик знает, где будем ночевать?

– На земле останется след наших оленей, он приведет его к старому чумищу пастухов, куда мы идем.

– Не заблудится?

– Старик не знает такого слова – заблудится!

– Но почему ты сразу не сказала ему, где ночевать будем?

Лангара поморщилась.

– Я ему не дала чайника, без чая он нигде ночевать не останется, не беспокойся. А есть захочет – скорее найдет прямую тропу к чуму. Голод укоротит дорогу.

– Тогда зачем же ты так мучаешь Карарбаха?

– Не мучаю. Так он сильнее беды, сильнее голода, другим от него польза и долго проживет. А его не будет – кто с оленями останется? Дети в интернате учились, книжки читают, много всякого разного знают. А вот чтобы сердце болело за стадо – этому не научили их. Как они останутся с оленями, куда потянут тропу без старика? Не знаешь? То-то!..

– Но вы не вечны. Да и сколько же можно вам работать? Вы с Карарбахом заслужили более спокойную старость.

– Нам тут лучше.

– Но это не жизнь, а мука! В твои ли годы брать на себя столько забот. Да и нельзя все делать по старинке, жить надо иначе и тебе и детям.

– Время другое, ты правду говоришь, – соглашается Лангара. – Однако новое надо с умом делать, иначе оно совсем эвенков от насиженных мест уведет. А тайга, сам понимаешь, не должна пустовать. Много в ней добра, ой как много! Кто-то тут должен жить.

– Ваши дети, – перебил я ее. – Они все грамотные, пусть и хозяйничают.

– Говорю, их не приучают жить в тайге, другую пищу дают, и они след волка путают со следом собаки, своего оленя не могут найти в стаде, нарты не умеют делать. А без этой мудрости наших предков они не станут сильными, ветер будет носить их куда захочет. Они не справятся с тайгой. Да и зачем тут такие люди! – И вдруг старуха заторопилась, взяла у меня из рук полотенце, мыло и направилась быстрыми шагами к ручью.

Я много лет кочевал с эвенками. Но не помню, чтобы они жаловались на свою жизнь, высказывали обиды, и мне казалось, что эти люди хорошо устроены, довольны тем, что теперь у них всегда есть пища, одежда, свой постоянный угол. Но нет, человек не только этим живет. И тут, в глуши лесов, у пастухов противоречия отцов и детей, горячие споры о жизни.

Я не мог не продолжить этого разговора.

Лангара, присев на корточки на каменистом берегу, хватала пригоршнями ледяную воду, фыркала, как тюлень, потом долго-долго мыла руки, вся погруженная в какие-то давно привычные ей думы. Я дождался, пока она встала.

– Слушай, Лангара, ты слишком безнадежно смотришь на будущее своих детей.

– Человеку не дано знать, что будет завтра. Однако как может сердце не болеть у матери, если ее дети хотят жить не в родных местах, тут в тайге не остаются!

– Куда же они деваются?

– Разве ты не знаешь? Нет?.. Много эвенков ушло жить в большие стойбища лючи, будто там им лучше будет; и они, как оставшие от стада олени, разбрелись кто куда, растерялись. Брось каплю брусничного сока в речку, не увидишь, куда девается... Считай, ни их, ни их потомства нет. И молодые, которые учатся, не все приходят назад, ищут другую, легкую жизнь, думают, в лесу нет им счастья. Никто их не останавливает, никто не скажет – без тайги ты пропадешь! Они уходят от своих обычаев, от опыта стариков, а их дети забудут родной язык, и они уже не станут эвенками. Скажи, кто будет промышлять соболей, белку, пасти оленей, водить экспедиции? Думаешь, это теперь уже не надо? Нет, надо, как и пятьдесят лет назад или еще больше. – Лангара хотела еще что-то сказать, заторопилась, и горькие слова сдавили горло. Переступая с ноги на ногу, она обжигала меня колочим взглядом, будто я виновник всех ее житейских тревог.

– Никто не может заставить человека жить в тайге, Лангара. Такого закона нет.

– Нет! – категорически рубит она и рукою прикрывает мне рот. – Стадо без пастуха разбредется в разные стороны, не собрать его больше, понимаешь!

– Это верно, но человеку нельзя запретить решать свою судьбу. Он не пленник.

– Ты дурной, что ли?! Зачем запрещать, если он будет знать, как жить в лесу, разве такой уйдет из своих мест! – И, передохнув, так же убежденно продолжала: – А жить по-новому, как ты говорил, можно и тут, если ума хватит. Эвенки не должны уходить из тайги, там без них обойдутся. Или потом сюда будешь таскать других людей, однако им без опыта жить в лесу будет труднее, чем нам. Разве это не правда?

– Тут ты права, но твоему роду, Лангара, это не угрожает. Видишь, как разросся!

– Мы, пастухи, постоянно кочуем по нагорью. Живем, как жили наши старики. Карарбах всех с детства учил, как жить в тайге. Потом они много лет учились в интернате, вернулись к стаду, но забыли законы тайги, стали бояться трудностей, ленятся, потому что им в интернате не говорят об этом, и Карарбах опять учит их. Разве так можно? И хорошо, что наши вернулись и род Карарбаха стал большой, – не без гордости заключила она. – Но один совсем ушел – младший сын. Он учился в техникуме плавать на большой лодке, остался работать где-то далеко на реке. Не слышит родной речи, песни поет не свои, его дети не станут эвенками, даже если у них будут не птичьи носы, а настоящие. Зачем ему чужая река? Разве своей нет?! Ты хорошо подумай, если бы все, кто много учился, отдавали свой ум родной тайге, так много было бы добра у народа и не пустовала бы тайга.

– Ты считаешь, что эвенки должны были оставаться кочевниками?

– Нет, оборони бог, – запротестовала она. – Эвенкам надо жить, как лючи, на стойбищах, но им не надо запрещать кочевать, это у нас в крови. И дом наш тут, – она тычет пальцем в землю. – Сюда надо тащить новую жизнь, а не уводить эвенков отсюда. Тогда будет много стойбищ, много пушнины, оленей, мяса... Чего молчишь?!

– Я согласен с тобой, Лангара, что тайга не должна оставаться без людей, что лучше эвенкам жить в ней, чем другим; что жить они должны культурно. Но не так просто это сделать...

– Если так не сделают, никому не будут нужны олени, опустеет тайга, не останется троп. И если даже эвенков будет больше и больше, то где ты их найдешь, когда они разбредутся по земле? Кто бросает чум, тот теряет все. Помни, что тебе толмачила старая пастушка.

– Говорю, что вам надо жить в тайге, но уходите с этих бесплодных болот в другие места, где богаче природа, много ягеля и земля хорошо родит.

– Не говорит так! И в этой тайге много богатства, надо его видеть.

В это время кто-то окликнул ее, и она поспешно ушла, оставив меня озадаченным своим рассказом.

«Нет, не уйти старой Лангаре из тайги, – думаю я, провожая ее взглядом. – Не бросить ей аргиш. Она сохранит до могилы то, что завещали ей с колыбели. А ведь ничего хорошего

не видела пастушка за свою большую и трудную жизнь на этих зыбких марях и голых холмах, опекаемых любой стужей и проклятущей мошкаррой. И все же это родные места. Вот и пытается она задержаться в этих пустырях, сохранить опыт предков и сделать новую жизнь эвенков счастливой, но в родной тайге. Не дать им уйти на жительство в другие места. Как же больно думать ей, что тайга может опустеть, что исчезнут тропы отцов, не останется их опыта, если детям не будут прививать в интернатах, институтах любовь к природе, учить их жизни в лесах, развивать в них врожденные способности промышленника! Я по-человечески понимаю ее тревогу за судьбу подрастающего поколения эвенков».

Тучи, не донеся до нас дождя, ушли к горизонту, и опять над нами густо-синее небо.

Пока Павел печет лепешки к завтраку, я снимаю нашу палатку и в то же время посматриваю, как женщины готовятся в путь. Они ловко расправляются с чумами, скатывают бересту в тугие свитки, набивают потки продуктами, посудой. Хаос вокруг быстро исчезает, все ложится на свои места.

К костру подходит только что проснувшийся Битык. На его лице и следа не осталось от вчерашней обиды. Он слюнит указательный палец, макает его в теплую золу и начинает энергично чистить белые, как перламутр, зубы, потом мчится к ручью и, вернувшись, сушит у огня мокрое лицо и руки.

Из разобранных чумов появляются полуголые ребята. Налетают на костер и, сбившись у огня в плотную кучу, следят за нами. Это совсем еще карапузы, загорелые, будто вымазанные в шоколаде. Лица у них заспанные, но глаза чистые, взгляд острый, соболиный. Все вместе малыши чувствуют себя смелее. С раннего возраста они уже умеют наблюдать и скрывать любопытство. Они родились в тайге и, впервые в жизни открыв глаза, увидели чумы, оленей, костер, услышали лай собак. Позже их любимой забавой стала езда на оленях. А вот сейчас они впервые видят лючи «с птичьими носами», чьи тяжелые сапоги оставляют необычный след на земле, чья речь состоит из каких-то непонятных звуков.

Павел берет в руки горячую, докрасна поджаренную лепешку, постукивает по ней пальцами, как гончар по своему изделию, и начинает ломать. Пахучий пар обдаёт лицо. Детвора напряженно следит за каждым его движением. Губы их невольно шевелятся в предвкушении лакомства.

Первым получает лепешку стоящий впереди Битык. Он и сегодня у ребят за главного. Затем Павел наделяет и остальных. Никто из малышей не просит, этого им не позволяет врожденная гордость. С кусками в руках все присаживаются поближе к огню, не торопясь, с удивительной бережливостью, откусывают маленькие дольки, неторопливо жуют, явно наслаждаясь.

Нам с Павлом доставляет радость смотреть на детвору.

От жаркого пламени смуглые лица ребят пылают густым румянцем и кажутся вылитыми из красной меди. Дети беззаботно жуют, изредка поднимают на Павла блестящие черные глаза, полные благодарности. Тот добродушно улыбается им и тоже жует.

Я связываю палатку, а сам все думаю об этих детях.

Сейчас они хотят научиться у старших пасти стадо, арканить диких оленей, ходить на лыжах, распутывать следы зверей, подзывать на пикульку рябчиков, кабарочек – стать такими же охотниками, как Карарбах. Для них он предел мечты. Вернутся ли они после учебы в родные леса, как того хочет Лангара, чтобы по-новому строить тут жизнь, чтобы сохранить национальные достоинства своего народа? И тогда на долю черноглазых ребят выпадет самая интересная миссия – превратить вечно стылый край в пушной заповедник, заставить бесплодную землю служить человеку, и в холодном безмолвии нагорья будет звучать веселая песня эвенков.

Со всех сторон к стоянке стекаются разрозненные гурты оленей. Они заполняют прощелки в перелеске и всю поляну. Дети, как по команде, перестают жевать, запикивают за

пазухи недоеденные куски лепешки, вскакивают. Битык бежит к вьюкам, хватается маут<sup>9</sup>. Они будут ловить своих учагов, на которых путешествуют по тайге. Мне с Павлом совершенно непонятно, как можно среди этого огромного стада оленей, удивительно похожих друг на друга, найти одного, своего? Однако так кажется только нашему неопытному глазу. Даже дети пастухов прекрасно узнают своих животных, для них каждый олень имеет свои приметы, непостижимые для нас. Но вряд ли они могут объяснить их. Это не всегда могут сделать и взрослые пастухи.

Битык встает на пень, так ему виднее, окидывает быстрым взглядом стадо. Вертит головою вправо, влево, то приседает, то вытягивается. И вдруг радостный крик – увидел! Мальчишка, не выпуская из виду опознанного учага, начинает набирать на правую руку мелкими кругами маут. Сходит на землю и по-кошачьи крадется к краю перелеска, где, плотно сбившись в кучу, отдыхают олени. Вдруг один из оленей вскакивает, точно ждал этого момента, поворачивает настороженную голову в нашу сторону. Мальчишка явно не успевает, и учаг огромными прыжками вырывается из стада.

Двое шустрых парнишек бросаются за ним, заворачивают его обратно к поляне. Учаг дичится, раздувая ноздри, ищет пугливыми глазами опасность. Носится как оглашенный. А Битык уже в перелеске. Прильнув к стволу лиственницы ждет, готовый метнуть маут...

Слева тоже двое ребят пытаются обхитрить крупного учага. Слышится крик, визг, шорох погони.

Так, видимо, каждое утро мальчишки азартно состязаются с оленями.

Но вот они, как по команде, прекращают гоняться за учагами, с радостными воплями бегут к матерям, показывают ручонками на запад. До нашего слуха доносится гул моторов.

Лица всех обращены навстречу звуку. Из густой синевы неба выплывает самолет.

Павел бросает на костер заранее приготовленную охапку сырых веток с листьями. Над стоянкой столбом встает густой дым.

Дети неистовствуют от восторга. Машина теряет высоту, сбавляет скорость, с ревом идет на нас. Она разворачивается низко над лесом, делает один круг, второй. Всполошились олени, залаяли перепуганные собаки. В третьем заходе, когда самолет был над нами, от него отрывается белая лента с грузом на конце, падает на деревья, зависает на верхушке одного из них.

Летчик делает еще один круг, прощаясь, качает крылом и уплывает в голубую даль неба. Мы машем руками. А Битык и с ним еще парнишка уже карабкаются по гладкому стволу лиственницы.

– Ну и ловкачи! – восторгается Павел.

В посылке, сброшенной с самолета, были лекарства и инструменты, отправленные нам Верой Ивановной. Не забыла она вложить и подробную инструкцию.

Мне никогда не приходилось держать в руках шприц. Вначале я даже растерялся. Ведь все – и лекарства, и шприц, и руки должны быть стерильным. А что можно сделать в такой обстановке? Как бы хуже не получилось... Но выхода нет.

– Ты внимательно смотри, – обращаюсь я к Сулакикан, – что и как я буду делать. Завтра наши тропы разойдутся, и ты будешь сама лечить Аннушку...

Нас окружает детвора. Все-то им надо, никуда от них не скроешься. Я тщательно мою руки, кипячу шприц.

Мой уверенный вид, кажется, обнадеживает жителей стойбища.

На таборе наступает тягостное ожидание. Аннушка лежит на шкуре, под остовом раздетого чума. Глаза ее бессмысленно смотрят в небо. Лицо еще больше осунулось.

– Ей хуже после лекарства, – безнадежно произносит Сулакикан.

---

<sup>9</sup> Маут – ременный аркан.

Да, девочке хуже. Если после укола Аннушка умрет, могут обвинить меня... Но отступить поздно.

Протираю спиртом тощую ягодицу девочки и с уверенностью опытного врача запускаю иглу. Со лба у меня падают холодные капли пота.

Из открытого рта у больной вырвался еле слышный стон.

– Аннушка будет жить! – шепчет взволнованная Сулакикан, услышав этот протяжный звук.

– Непременно будет, – подтверждаю я. – Надо только хорошо лечить. А пока пусть полежит спокойно.

Неожиданно из перелеска донесся пронзительный шум и стал быстро надвигаться на нас. Все насторожились и замерли, не понимая, кто это так беспечно ходит по лесу.

А шум становился все яснее и ближе, слышался треск веток и грохот падающего сухостоя. Павел бросился искать Загрю, но тот уже несся к перелеску, пересекая поляну. И тут все увидели, как у закрайки леса он наскочил на сохатого, выбежавшего из чащи. Огромный зверь, чем-то взбудораженный, тут же повернул вправо и стал удирать через марь, поднимая столбы водяных брызг. Загря мчался большими прыжками, пытаясь пересечь ему путь.

Не успели оба они скрыться с глаз, как на следу сохатого из перелеска появился бурый медведь. Он так был занят преследованием сохатого, что и не заметил ни нашей стоянки, ни дыма, ни оленей.

– Видел?! – крикнула Лангара. – Медведь шибко плохой зверь, один, два дня будет ходить следом, все равно задерет сохатого, еще и кобеля твоего подомнет...

– Загре не впервой, – ответил я, а сам не на шутку встревожился. Надо было с утра привязать его, да кто же мог предугадать такое.

К стоянке стекаются подгоняемые пастухами последние одиночки-олени. Воздух наполняется криком тугуток и перезвоном бубенцов.

Наскоро завтракаем, и стойбище приходит в движение. Вся подготовка к аргишу лежит на женщинах. У них уже готовы вьюки, разложены седла, подпруги. Они ловят рабочих оленей, связывают их одного за другим, начинают вьючить. Я с восхищением слежу за работой пастушек. Какие они великие труженицы, мужественные и безропотные!

Голос Лангары висит над стоянкой. Все послушны ей. За долгие годы ее руки, ее слова и жесты приобрели ту скупую прочность, которая присуща только людям сильной воли, убежденным в своей правоте. Да, мы оказались свидетелями настоящего матриархата.

Как только мы начали укладывать по поткам наши вещи, детвора мигом сбежалась к нам. Интересно, что лючи возят с собою по тайге? Они следили за нами так пристально, словно мы прятали от них какие-то волшебные игрушки. Нередко у кого-то из них появлялось на лице удивление или вырывался звук восторга.

Инга ведет рабочих оленей к поткам, но вдруг останавливается, выпускает из рук поводной ремень, хватается за живот, ищет глазами опоры. На красноватом лице ее страх.

Подбегаем с Павлом к ней, устраиваем ее на ворохе постелей, сами начинаем вьючить оленей. Муж Инги уехал на Учур за продуктами. Ей приходится самой управляться со сборами в дорогу. Конечно, кочевать ей нелегко, но она держится стойко, только в глазах ее грусть и тревога.

Наконец все готово. Груз из кожаных и берестяных поток крепко притянут подпругами к бокам оленей. Старшие дети привязаны ремнями к седлам. Двое самых маленьких, мальчик и девочка, рассажены по люлькам. Люльки связаны сыромятной подпругой.

Какие довольные мордашки у всех маленьких «наездников»! Вот уж кому одно удовольствие кочевать по тайге!

Остается незавьюченным самый сильный и крупный бык с седлом на спине. Лангара подводит его к больной Аннушке. Та лежит на прежнем месте. Рядом с нею пустая люлька и тяжелая, плотно набитая потка.

Люлька внутри выстлана душистым лапником. Лангара снимает с больной одеяло, расстилает его поверх лапника, а я беру на руки безжизненное тельце ребенка.

На меня смотрят все те же пустые глаза. Но мне кажется, что они немного потеплели.  
– От!.. От!.. От!.. – будят пастухи дремлющее в прохладе стадо.

Вздрагивает лес ветвистых рогов, разрывается войлок оленьих спин. Животные перестают жевать, лениво поднимаются, потягиваются. Три пастуха, двое мужчин и одна женщина, должны гнать стадо следом за караваном.

В караване три длинные связки оленей, кроме нашей. Лангара по-хозяйски оглядывает опустевшую стоянку, прощупывает вьюки на спинах животных, ладно ли завьючены, внимательно осматривает стадо.

Все ждут ее команды.

– Вы след наш притаптывать будете! – кричит она нам и, ловко оседлав толстого учага, тронула караван.

Сулакикан ведет свою связку предпоследней. Битык едет на втором олене, привязанный к мягкому вьюку.

– Лючи!.. Лючи! – кричит он, проезжая мимо нас. Он и дети смеются.

Следом за Сулакикан идет Долбачи. Мы с Павлом завершаем шествие.

На месте стоянки остались утоптаный мох, кучи свежего помета, потухшее огнище и высокие скелеты чумов, много лет служившие кочевникам приютом.

## Глава пятая. Тропою кочевников

За караваном идет огромное стадо оленей. Среди самок и молодняка выделяются несколько племенных быков – тучных рогачей, сохранивших в своем внешнем облике черты предка – дикого сокжоя. Стадо, колыхаясь, накрывает марь, наползает на болото, растекается по перелескам. Несмолкаемый крик погонщиков смешивается с тревожным криком растерявшихся телят, лаем собак и треском сучьев. Шум нарушает безмолвие скупой земли, уходит вместе с нами на юго-восток, в глубину нагорья.

За горизонт уплывают редкие хлопья туч. В лицо бьет настывший воздух. Как ступами крови, устлана красными осенними листьями тропа. Сквозь оголенный лес синее впереди холодеющее небо.

Первым препятствием на нашем пути были мари, рассеченные узкими полосами болот и хвойных перелесков. Куда ни ступишь, всюду топь, куда ни взглянешь – жалкие, скрюченные, полузасохшие деревья, навевающие уныние. Видимо, только одна жизнестойкая лиственница и может селиться на этой зыбкой, гнилой почве, присасываясь к ней упругими, широко разветвленными корнями.

Лангара останавливает караван, соскакивает с учага. Впереди перед нами узкая полоса топей с проточной водой, прикрытой зеленым густым троелистом. Старуха бросает повод, ищет проход, глубоко протыкает кривым посохом вязкую почву зыбуна, ворчит. Затем тянет караван вправо – и тут неудача, пройти нельзя. Поправив на оленях вьюки и подпруги, она еще раз осматривает топь и по-мужски быстро садится на учага.

Другие женщины делают то же самое.

Лангара подтягивает поближе к себе все связки оленей, привязанных к учагу. Бьет пятками по бокам оленя, гонит его напрямик через топь. Животное упрямится, не идет вперед, бросается влево, падает, вскакивает, машет, как бы протестуя, головой. Но старуха настойчиво правит его в промоину, сильно бьет пятками.

Учаг сдается. Осторожно переставляя ноги, будто шагая по минному полю, подходит к топи. Дико косит свои большие круглые глаза на воду. Но Лангара неумолима. Олень, напрягаясь, горбит спину и, тряхнув рожищами, прыгает. Идущий за ним с вьюком олень не успевает прыгнуть, натягивает повод, которым связан с учагом, и тот, не достигнув ногами противоположного берега, падает вместе со старухой в промоину.

Восторженный крик детворы разряжает напряженность. Мы с Павлом бросаемся на помощь. Лангара уже стоит на ногах по пояс в холодной воде и помогает учагу выбраться на топкий берег, с криком подгоняя остальных оленей. Затем выбирается сама и начинает выжимать воду из юбки.

Долбачи и Сулакикан с больной Аннушкой немного мешкают с переправой.

– Сулакикан, сними ребят, мы с Павлом перенесем их, – предлагаю я.

– На олене надежнее, пусть привыкают.

– А если упадут?

– Один раз упадут, другой раз догадаются, что надо хорошо держаться.

– А как же с Аннушкой?

– Ничего, хорошо пройдет, ее олень самый крепкий.

И действительно, никто не упал. Сулакикан даже не оглянулась на ребят. А случай с Лангарой тотчас же был забыт, как только отошли от промоины.

Снова идем по широкому полю болот, по гладкой, как скатерть, равнине. Ярко-зеленые мхи прикрывают глинисто-жидкое месиво оттаявшей мерзлоты. Олени чувствуют, что под этой зеленой гладью таится коварная топь. Караван разрывается. Животные грузнут, падают. Слышатся крики, угрозы, удары...

Какое поистине мученье пробираться через эту топкую марь! То одна, то другая нога завязает в липкой глине, и если сразу, мгновенно не вытащишь ее – засосет, и тогда без посторонней помощи не выбраться, или кочки так заслонят проход, что негде ступить, и приходится идти в обход. И всюду вода, вода – черная, маслянистая, коварная...

Наконец подошли к кромке леса. Лангара проворно пробежала вдоль каравана, убедилась, ладно ли лежат вьюки, не сползли ли подпруги. Заодно поболтала с Ингой, одарила подзатыльником Битыка за какую-то шалость. А тем временем нас догнало стадо. Олени с проворством диких животных перемахнули через промоины и гораздо быстрее, чем мы, перешли болото.

Караван вскоре вступил в густую тайгу. Идем на подъем без тропы, гуськом. Чаще встречаются упавшие деревья, одряхлевшие пни, рытвины, прикрытые папоротником. Непролазной стеною встают впереди заросли стланика. И все-таки пробираться тут, по лесу, в тысячу раз лучше, чем идти по марям.

Мы с Павлом идем впереди, расчищаем топорами путь. Царственная тишина тайги наполняется гулом. Лес оживает от стука топоров, от людского говора, от крика погонщиков.

За крутым каменистым подъемом перевал. Здесь надо дождаться стада и всем передохнуть. Оленям – влажный ягель и грибы, нам – зеленая лужайка, тень лиственницы да крепкий чай вприкуску.

Развьючиваем оленей, отпускаем их на корм. Детвора с котлами в руках рассыпается по тайге в поисках воды. Это их обязанность во время кочевья. Мы с Павлом таскаем дрова.

Небо хмурится. В воздухе сырость. В мгlistой пелене скрываются контуры лысых холмов.

Меня подзывает Лангара.

– Смотри, такое видел? – Она показывает на небольшую ель.

Что за чудеса: на нижних сучьях вокруг ствола аккуратно развешаны пучки зеленой травы, листья, корешки, кем-то заботливо собранные.

– Кто это сделал? – спрашиваю я.

– Эко не знаешь?..

– Никогда не видел.

– Не видел – значит слепой, – насмешливо бросает Лангара. – Это сеноставка<sup>10</sup>. Знаешь? Корм на зиму запасает, а солнца нет, дожди, так она под елкой сушит. Олень найдет такую траву – не отступится, ни один зверь не пройдет мимо. – И старуха протягивает мне широкий лист. – Смотри, сухой, а не ломается, долго будет лежать на земле и не пропадет. Но это не сеноставка придумала, нет. От предков. Понимаешь?

– Не совсем. Объясни получше...

– То, что и люди обязательно должны беречь опыт стариков, без этого жить нельзя тайге. Сеноставка и та не проживет.

– Ты права, Лангара. Все, что облегчает и украшает жизнь человека, надо свято беречь. Но не все из прошлого надо тащить с собою. Ну, скажем, зачем тебе злой дух Харги или божки деревянные, которых ты возишь в потке? Ты же не молишься им!

Лангара при этих словах, как обычно, махнула рукою – дескать, замолчи – и встала.

Издали доносится выстрел, будто пустое ведро упало на камень.

– Это старик разрядил бердану! – радостно кричит Сулакикан, кивая в сторону звука.

– Зверя, видно, убил? – спрашивает Павел.

– Даже когда зверь упадет после выстрела, еще не говори, что ночь будет с мясом. Пуля не всегда держит зверя, – ответила за нее Лангара.

---

<sup>10</sup> Сеноставка – животное из отряда грызунов.

Стадо разбредается по перевалу в поисках корма. Впереди бегут «грибники». Для оленьи грибы – лакомство. В это время они предпочитают их даже ягелю.

Мы едим вяленое мясо, прихлебываем чай, немного отдыхаем – и снова в путь. Караван опять ползет по чащобам. Стадо отстает. Где-то позади смолкает крик погонщиков.

Солнце спустилось за полдень, померкло. Неизвестно откуда появившиеся тучи темнят запад. Из хмурой глубины горизонта на нас надвигается непогода вместе с глухим рокотом тайги и воем ветра в вышине.

– Дождь! Уходить надо! – кричит Лангара и, подбадривая учага, быстро ведет караван в широкий лог.

Тучи низко виснут над поникшей тайгой, забегая справа, слева, давят нас чернотой. Вдруг ослепительный блеск. Еще и еще!.. Синие зигзаги молний вспарывают брюхастые облака. На нас обрушиваются тяжелые разряды грома. Черный коршун, будто сбитый грозой, падает на землю, жметя к каравану, в страхе забыв про врагов...

Колючий холодок пробегает под рубашкой.

Лангара пугливо поглядывает на гневное небо, торопится вниз. Мы все бежим за ней. Воздух сухой, наэлектризованный; кажется, вот-вот взорвется.

Когда мы сбежали на дно широкой пади, впереди внезапно раздался потрясающий рев, перекрывший грохот грома. Олени и люди остолбенели, собаки трусливо поджали хвосты.

Лангара, повернув к нам искаженное страхом лицо, погрозила посохом.

– Худой место тут, надо скоро уходить, – и, вскочив на учага, стала торопливо уводить караван влево, как бы обходя место, откуда донесся рев.

Негаснущий свет молнии полосует небо. От удара грома содрогается под нами земля. Олени ломают строй, забегают вперед, сбивают вьюки.

Из туч, как из ледника, набросило холодом. Ветер перешел в ураган, пробежал вихрем по вершинам. Все кругом загудело, налетел ливневый шквал. Сквозь мутную завесу воды не пробивался даже свет молний. Дождь безжалостно хлестал по холмам, отплясывая дикий танец по равнине.

Караван забрался в самую чашу. Олени скупились. Дети спрятались под вьюки. Мы все приникли к стволам деревьев. Но нигде нет спасенья. Вода просачивается за воротник, ледяными струями растекается по всему телу.

Недалеко от меня укрылась Инга. Она страшно устала, обессиленна. Под глазами синие круги. Она старается скрыть боль, тихонько дышит сквозь посиневшие губы.

– Лангара, Инге плохо! Надо табориться – кричу я.

Но ветер доносит до старухи лишь обрывки слов.

– Инге плохо! – изо всех сил опять кричу я.

Лангара срывается с места, наклоняется к Инге, о чем-то спрашивает, затем зовет Сулакикан. Они вместе развьючивают оленя, усаживают Ингу на потку, а из другой потки достают лоскут плащ-палатки, прикрывают им роженицу.

Ураган стихает так же внезапно, как и налетел. Сосны распрямляются. Но тучи, отступая на север к плоскому горизонту, все еще сотрясают разрядами небо.

Мы все до нитки промокли. Меня трясет озноб не только от холода, но и от страха за Ингу. Боже, в каких условиях ей придется рожать! Я удивляюсь каменному спокойствию, с каким женщины встречают этот трудный час.

На землю падают последние капли дождя. В прорехах туч показывается свежее и удивительно синее небо. Такую густую синеву увидишь разве лишь осенью. И только после грозных туч.

Выглянуло солнце. Оно печально смотрит на исхлестанную бурей тайгу, на взбудораженные мутные ручьи, на примятые травы и мхи. Чище и нежнее после дождя стала просинь увядающих лесов.

Невдалеке громко кричит ворон, точно бьет в жезл: «Дзинь!.. Дзинь!..»

– У-у, сатанюка, беду кличет! – ворчит Лангара на зловещую птицу и с беспокойством поглядывает на Ингу.

Вдруг справа от нас словно кто-то застонал. Все повернулись на звук и увидели, как огромная старая лиственница уходила на покой от солнца, стуж и бурь. Падая, она еще цеплялась сучьями за соседние стволы и медленно клонила к земле свою дрожащую вершину. Наконец раздался дважды повторившийся треск, сухая лесина, ломая ветки, подминая под себя молодняк, с тяжким гулом ударилась о землю и разломилась на несколько частей.

Мы стояли молча, пораженные картиной гибели лесного великана.

Лангара в испуге долго оглядывалась по сторонам, прислушивалась, затем присела на корточки возле Инги и стала ее успокаивать. Потом подошла ко мне и тихо сказала:

– Ты думаешь, это ворон кричал?.. Нет! И дерево тоже не само падало. Нашим следом идет Харги. Он хочет взять Ингу.

– При чем тут злой дух! Крик ворона и падение сухого дерева бывают в лесу каждый день, и ты это хорошо знаешь!

– Нет, нет, не скажи так. Это шибко худой примета. Как бы с Ингой беды не случилось...

Я не продолжаю спора – словами ее не переубедишь.

Мы наскоро выжимаем и немного высушиваем одежду. Я прошу Сулакикан распеленать Аннушку. Пока она готовит большую, ребята помогают мне развести костерок, чтобы прокипятить шприц. Девочка все в том же безнадежном состоянии. С трудом нахожу место для укола, так она худа.

Аннушку снова заворачивают в одеяльце, укладывают в люльку.

Караван трогается. Инга едет самостоятельно. Ее связку оленей ведет Павел. Сидит она в седле грузно, скорчившись, поддерживая живот мокрыми и синими от холода руками. Волосы у нее тоже мокрые, липнут к лицу, к шее, нависают на глаза, но она как будто этого не замечает.

Олень под Ингой идет осторожно, мягко, точно понимает, какой груз у него на спине. Но пастушка болезненно вздрагивает от каждого шага.

– Мод!.. Мод!.. Мод!.. – все чаще слышится крик Лангары, поторапливающей уставших животных.

Пробираемся через чащу вверх по пади. Каждая веточка, каждый куст, только дотронуся до них, сбрасывают на нас поток воды. Как терпят дети все трудности пути! Ни один не пикнет, все съжились, прилипли к оленям, словно их и нет.

Выходим к береговому ельнику. За ним злобится мутный поток, до отказа напоенный дождевой водой. Его гривастые волны накрывают валуны, толкают друг друга, с ревом проносятся мимо, дальше и дальше, туда, где еле слышатся отдаленные раскаты грома.

Инга что-то отчаянно кричит Лангаре.

Та не отвечает, не оглядывается, гонит учага дальше, энергично толкая его в бок концом посоха.

Старуха не ищет брода, даже не останавливается, а с ходу вместе со всей связкой оленей вваливается в поток.

Вздыбились толпы разъяренных бурунов, обрушились на караван, но решительность Лангары придала смелость животным, и они почти на рысях перемахнули через мутный поток.

Лангара и нас увлекла своей стремительностью. Инга снова кричит, полная отчаяния.

Старуха продолжала беспощадно гнать оленей к видневшемуся холму, прикрытому пятнами бледно-желтого ягеля.

Уронив безвольно голову на грудь, Инга покачивается в такт быстро идущему оленю и все чаще корчится. Из прокушенной синеватой губы у нее сочится кровь... Поводной ремень волочится под ногами учага. Я поднимаю его и иду впереди, чтобы не видеть страданий женщины.

Но вот перелесок, за ним холм. Лангара остановила караван. Олени от быстрого бега не отдышатся. Я помог Инге сойти с учага, посадил на приготовленные для нее шкуры; силы покидали ее, но и теперь не слышалось ни стоны, ни вздохов, ни жалоб. Только иногда, откинув назад голову, она с мольбою смотрела на небо. От лица у нее отхлынула кровь – оно посинело, потом стало пугающе бледным.

Подвели учага с больной Аннушкой. Мать с тревожным предчувствием развязывает ремни, откидывает край одеяла, припадает щекой к щеке ребенка. Аннушку, кажется, не спасет и пенициллин. Изредка приоткрывая рот, она судорожно глотает воздух. Пульс по-прежнему плохо прощупывается. Как только она вообще перенесла этот путь на олене через топи, мари, броды!..

Подошла Лангара, посмотрела на больную девочку и пронизала меня недобрый, обвиняющим взглядом.

– Через два часа снова буду говорить с врачом, – смущенно оправдываюсь я.

– Не обманывай, – строго обрывает меня Лангара. – Разве не видишь, ее уже нет с нами?! Говорю, Харги идет нашим следом, беду несет нам.

Стада еще нет. Павел ставит нашу палатку, а мы с Долбачи помогаем устроить ночлег женщинам. Все работают быстро. Дети вслед за взрослыми бросаются в лес и тащат оттуда листовничные ветки, жерди, сушняк для растопки.

Ставим один большой чум только для женщин и детей. Мужчины переночуют у костра. Пастухи тайно перебрасываются какими-то короткими фразами, тревожно поглядывая на скрюченную и ничего не замечающую вокруг Ингу.

Лангара ловко работает пальмой<sup>11</sup>, очищает от сучьев ветки, принесенные детворой, и разбрасывает по «полу» будущего чума. В ее движениях расчетливая торопливость. Она молча командует всеми. Достаточно жеста руки или головы, одного взгляда, как ты, будто загипнотизированный, подчиняешься ей.

Я беру топор, срубая березку с еще не осыпавшимися листьями, очищаю ветки и тоже разбрасываю их по «полу». Лангара вдруг замечает мою работу, коршуном налетает, вырывает из рук ветки, собирает их с «пола» и, ничего не сказав, уносит обратно в лес. Возвращается, говорит с гневом:

– Только дурной люди может топтать ногами березу или жечь ее на костре. Разве ты у эвенков видел такое? – Голос ее дрожит, она замолкает, сжимает тонкие губы, чтобы не сказать более резких слов.

– Право же, Лангара, я не знал этого обычая. Извини, мне просто хотелось помочь тебе.

– Плохо помог. Надо хорошо помнить: тот, кто обидит, сломает или срубит березку, худо ему будет в пути, сам заболеет или олень пропадет. Разве не видишь, у нас и без того беда из чума не выходит! И Аннушка и Инга... А ты березу еще срубил... Плохо это, – и добавляет уже без гнева: – Березу, по законам отцов, надо беречь, она сестра людям, радость им. Пусть много ее будет в тайге.

Я стою перед этой древней старухой, как мальчишка, пойманный с поличным. А ведь действительно наша северная береза, с зелеными кудрями, белоствольная, на этой мерзлой, бедной земле, может быть, раньше была единственным утешением для человека, его радостью; не зря эвенки так бережно относятся к ней.

---

<sup>11</sup> Пальма – большой нож с длинной ручкой, заменяющий топор.

Лангара уходит и подзывает к себе Сулакикан, что-то говорит ей быстро-быстро и, захватив свитки березовой коры, топор, поспешно уходит за холм.

Мы с Долбачи накрываем чум. Дети один перед другим стараются помочь нам. Инга молча вздрагивает, жмется спиной к корявому стволу лиственницы. Ее взгляд деревянеет. Она зажимает руками рот, чтобы не выдать страдания. Сколько терпения у этой женщины!

Из-за холма слышится стук топора.

– Что они там делают? – спрашиваю я у Долбачи.

– Чум для Инги. Она будет родить в другом месте, подальше от стоянки.

– Надо помочь им. Женщины одни быстро не справятся, а Инга уже не может ждать.

– Мужчины не должны знать, как ставят чум для роженицы, – ответил невозмутимо Долбачи. – Это делают сами женщины.

На соседних буграх угасал дневной лиловый свет. Павел разжег костер. Продрогшие дети сгрудились возле огня. Они не боятся уже лючи. Ребята ловко сушат одежду прямо на себе, не раздеваясь. От нее идет густой пар, пахнет распаренной лосиной.

Когда костер разгорелся, Битык взял три горящие головешки, понес их к Инге. Ребята тащат за ним сушняк и сообща разжигают костер. Забота детей трогает всех нас. Я тоже беру несколько поленьев, подхожу к Инге.

От жара костра она немного распрямляет согнутую спину, поднимает голову. Искаженное муками лицо улыбается детям. Сухие, синие губы беззвучно шевелятся.

Вернулась Сулакикан. Она отобрала из вороха вещей несколько оленьих шкур, достала из поток какие-то свертки и две мягко выделанные кабарожьи шкурки. Приказала трем старшим ребятам все это отнести в чум за холмом. Молча подошла к Инге, помогла ей встать, и они медленно двинулись к чуму.

Мы долго смотрели вслед уходящим женщинам. Казалось, Инга никогда не была такой покорной и доверчивой, как в эти минуты, готовясь стать матерью.

Подошли и пастухи со стадом. Марь оживилась криком тугуток<sup>12</sup>, растерявших матерей. Но вскоре все смолкло, по редколесью разбрелись в поисках корма серые тени оленей.

Пастухи, закончив трудный день, присели к огню, закурили. Сетья разобрала вьюки, достала потки с продуктами и посудой, стала готовить ужин. Казалось, никто и не думал о маленьком чуме за холмом. Все молчали. Вокруг стояла глубокая лесная тишина. Наступал ночной покой земли.

И вдруг вдали кто-то протяжно пискнул. Все сразу замерли. Пискнуло еще и опять смолкло...

– Дрозд, – с облегчением сказал Павел.

Но напряженность ожидания уже не покидает нас. Даже дети нет-нет да и оглянутся на холм, еще не понимая, но чувствуя, что там что-то должно случиться.

Солнце умирало в пурпурной бездне далекого горизонта. За лиственничным океаном мутнел восток. В темнеющем небе нарождались синие алмазы звезд. Холодные тени уже бродили по лесу. Все казалось неопределенным и на стоянке, и на болоте, и за холмом. Но так только казалось. Мы понимали, что эта ночь в отличие от других будет трудной, долгой и, может быть, трагической.

Мы сидели у костра и молча пили чай. Из мрака к огню выскочил Загря. Он, на секунду застыв, будто чем-то пораженный, вдруг рванулся ко мне, ударил грудью, повалил на землю. Кобель, запыхавшись от быстрого бега, лизал длинным языком мое лицо, руки, обдавая горячим дыханием. Сколько радости, словно мы не виделись с ним целую вечность!

Я тоже страшно обрадовался. Молодец, кобель, нашел нас, не потерялся! Легонько отталкиваю его от себя, встаю. А Загря не успокоился, осматривает стоянку, кого-то ищет.

---

<sup>12</sup> Тугутка – олененок.

Глажу его по шерстистой спине и не могу понять, почему кобель такой взбудораженный. Что-то случилось; и кажется, вот сейчас он заговорит о чем-то важном, расскажет.

– А что это у него за пятно? – говорит Павел, приглядываясь к кобелю при свете костра.

Теперь и я вижу: у Загри на белой манишке груди большой мазок крови.

– С кем-то дрался, – спокойно отвечает Долбачи.

Кобель будто понимает, что разговор идет о нем, поблескивает глазами.

– Однако, с медведем дрался. Смотри, вот шерсть... – Долбачи снял с морды Загри какую-то волосинку, передал мне.

Да, волос медвежий. По его цвету мы определили, что зверь был бурой масти. Но что же произошло между ним и Загрей? Этого, пожалуй, нам не разгадать, как и не узнать, где сейчас глухой старик и приведет ли его жажда чая на табор?

К ночи похолодало. На севере чище и нежнее заголубело далекое небо. Из ельника, из его таинственных дебрей, выплыл кособокий месяц. Темнее и резче стали тени в просветлевшем лесу.

Дети гурьбой ушли с Сетыей спать в чум. Мужчины расстилали шкуры у огня. Но о сне никто не думал. Все охвачены ожиданием. Я искренне беспокоился об Инге. Мне казалось, что я вечно кочую с пастухами, живу их радостями, горем, и сейчас, так же как и для них, для меня нет ничего важнее этой напряженной тишины в маленьком чуме и того, что должно свершиться.

Удивительная эта ночь!

Внизу на болоте белым привидением поднялся туман. В нем что-то мистическое, полное тайн. Таинствен и месяц, низко плывущий над землей...

Все молчат. Павел, усевшись поближе к огню, собирается латать штаны. Долбачи набивает трубку табаком, сладко затягивается, передает ее пастухам. Загря лежит возле меня, зализывая намятые подошвы лап. Его жизнь больше, чем наша, полна всяких приключений. Сколько он за день обежит тайги, чего и кого только не увидит! Да и окружающий нас мир он представляет иначе, не зримо, как мы, а больше по звукам и запахам.

Собака легко, на большом расстоянии по шагам угадывает, сохатый или медведь ходит. И среди сотни запахов живых и мертвых существ, лишайников, болот, цветов она легко уловит запах следа раньше прошедшего зверя. Вероятно, давно-давно и человек обладал таким обонянием.

Из леса появляются олени. Они группами располагаются поодаль от костра, начинают пережевывать корм. Вспугнутые с теплых лежек собаки ворчат. В чуме плачет разбуженный ребенок.

Наконец-то до напряженного слуха ясно доносится человеческий стон. Он сразу переходит в душераздирающий крик, долгий, натужный. Кто-то, спотыкаясь, бежит от холма. Это Сулакикан. Она сильно встревожена, молча бросается к вьюкам, находит нужную потку, достает из нее какие-то свертки и спешит обратно. Я задерживаю ее.

– Как с Ингой?

В глазах Сулакикан тревога.

– Плохо. Может не родить... – И пастушка торопливо уходит к холму, откуда по-прежнему доносится стон.

– Уехала бы в поселок, там врач помог бы родить, так нет, все по старинке, в таборе, а оно, вишь, как неладно получается! – подсадовал Павел.

В это время из леса появилась горбатая тень, и к огню подошел Карарбах. Он еле-еле передвигал ноги. Видно, давно искал нас в ночной тайге. Кто-то расшевелил костер, и вспыхнувшее пламя осветило старика. Но что такое?.. Его лицо исполосовано свежими царапинами, покрыто черными пятнами запекшейся крови. Он остановился, пошарил глазами по стоянке и, увидев Загрю, скупно улыбнулся. Подойдя к нему, Карарбах отбросил посох, опу-

стился на землю, обнял голову собаки, крепко прижал к худой груди, как можно прижимать самое дорогое существо. И тут мы увидели, что у старика на спине разорвана дошка, а с затылка свисает окровавленным лоскутом сорванная кожа.

Старик достал из-за пазухи медвежью почку и бросил Загре. Кобель схватил почку и начал жадно с ней расправляться. Не отрывая от Загри теплого взгляда, Карарбах о чем-то думал, не замечая нас.

И опять, как при первой встрече, мне показалось знакомой сгорбленная спина старика и даже поняжка на ней. Мы где-то встречались, должно быть, давно, и из памяти выпала эта встреча.

Павел вешает на огонь чайник. Я помогаю старику снять с плеч тяжелую котомку с мясом. Меня раздражает любопытство: за что Загря получил почку?..

И тут от холма донесся отчаянный крик Сулакикан. Она бежала на стоянку, что-то выкрикивая и жестикулируя. Увидев старика, пастушка вся в слезах бросилась к нему, стараясь объяснить жестами, что Инга умирает...

Карарбах встревожился, решительно встал, сбросил с плеч дошку, быстро подошел к вещам, достал из потки две новые ременные подпруги и попросил полить ему из чайника на руки. Павел бросился в палатку, принес мыло и полотенце.

Сулакикан торопила старика. Она стояла спиной ко мне. Плечи ее беспрестанно вздрагивали.

А за холмом в пустынной тишине отчаянно кричала женщина. К этому крику, как к боли, никогда нельзя привыкнуть. И никогда нельзя забыть, если хоть раз услышал.

Пастушка увела Карарбаха. Он шел торопливыми шагами, взволнованный и как будто неуверенный...

Крик Инги перешел в стон; и нам казалось, что вместе с ней стонут и холмы, и тайга, и небо...

К стону Инги присоединяется голос старика. В нем сострадание, ласка; он мягко говорит что-то, упрощает, потом угрожает и начинает стонать сам вместе с Ингой, как бы принимая на себя ее муки...

Ушел в тучи месяц, и густая тень прикрыла холм, стоянку, тайгу. Еще мрачнее стало на земле, и еще более тяжелым казалось нам наше беспомощное ожидание.

– Клянусь, она не выдержит этой пытки! Да и чем поможет ей этот древний старик? – сказал Павел, безнадежно покачав головой.

– А вот мы с тобой только вздыхаем и тоже ничем не можем помочь. Не пойти ли нам туда?.. – предложил я.

– Там и без нас много свидетелей. Да и что мы сделаем?.. – ответил Павел.

Голос Инги стихает, будто доносится из-под земли. Но старик, наоборот, стонет все натужнее, все громче... И внезапно все обрывается, смолкает. Становится так тихо, что до слуха доносятся шелест ветерка, шепот какой-то проснувшейся птицы, вздохи уставшей земли...

В этот нестройный шум звуков ночной природы ворвался пронзительный крик, который ни с чем уже не спутаешь!

– Родился, ей-богу, родился! – заорал Павел и в дикой радости схватил Загрю и так потрянул, что тот едва вырвался.

Да, это был первый крик ребенка! С души свалилась тяжесть. Ветер тихо качал лесную колыбель. И что-то ласково шептали кроны...

Долбачи щедро подложил дров в костер, и горячее пламя весело заполоскалось в воздухе. Длинный Майгачи вылил из чайника старую заварку, направился к ручью за водой. Из чума вышла Сетья. Она улыбалась. Подойдя к костру, повесила на таганы котлы с мясом, сваренным еще вечером, стала накрывать на «стол».

Был предрассветный час. Ночь без луны и без звезд теперь казалась необыкновенно ласковой. И как-то приятно шумела под ветерком засохшая осока на болоте, балагурил ручей, и сырой туман уходил к речным долинам. Все в природе было спокойно, как вчера и как сто лет назад...

Из-за холма показался Карарбах. Он двигался пьяной походкой; казалось, вот-вот упадет и больше не встанет. По лицу из ран сочилась кровь, и от этого оно казалось изувеченным пытками. Старик бросил на ворох вещей ременные подпруги, которыми, видимо, подвешивал в чуме роженицу, чтобы облегчить ей муки, и, опустившись у огня на шкуру, безвольно уронил голову. Перед нами сидел прежний, глухой, одинокий Карарбах и устало смотрел в огонь.

Пастушка налила ему в кружку крепкого чая, поставила туесок со спелой брусникой, положила лепешку. Старик что-то промычал, привлекая к себе внимание. Затем показал на Сетью, а потом в сторону чума за холмом.

– Девочка родилась, – пояснила пастушка и ушла в чум к плачущему ребенку.

– Вот и хорошо! – с облегчением сказал длинный Майгачи. – Отец хотел дочку.

Я взял ножницы, йод и бинт, чтобы сделать старику перевязку. Очень хотелось узнать, что сроднило Карарбаха с Загрей. Где они встретились? Но старик не в силах мне ничего рассказать, придется дожидаться Лангару.

На стоянке заметно ее отсутствие. Совершенно очевидно, что здесь все нуждаются в ее опеке, в ее советах, в ее распоряжениях. Она, как самая большая головешка в костре: убери ее – и огонь погаснет.

Карарбах поднял отяжелевшую голову. Поправил костер своими жилистыми, натруженными руками, налил из кружки в блюдце чаю, подождал с минуту, пока остынет, стал пить, громко втягивая в себя каждый глоток.

Для Карарбаха чай – священный напиток, самая лучшая отрада. Пусть уж напьется. Пусть усладит душу, а потом я забинтую ему голову.

Вот он поймал мой взгляд. Пытаюсь жестами объяснить старику, что непременно надо перевязать раны, иначе они долго не заживут.

Но он отрицательно качает головой. Затем оставляет недопитый чай в блюдце, берет двумя пальцами из костра щепотку золы, прикладывает к ране на лбу, начинает растирать.

Я снова пытаюсь объяснить ему, что если это и не вредно делать, то, во всяком случае, и бесполезно. Но тут появляются Лангара с Сулакикан. Старуха подходит к костру, строгим взглядом окидывает стоянку. В глубоких морщинах на лбу и на щеках тоже усталость.

Сулакикан что-то говорит Сетье, и та, захватив постель, идет за холм.

– Ты пошто стоишь, чего ждешь? Трудный день ушел. Надо кушать, чай пить и спать, – бросает Лангара мне и подсаживается к Карарбаху.

Потом спохватывается, дает какие-то распоряжения пастушке. Та развязывает котомку старика, достает из нее свежую печенку, передает Лангаре. Старуха ест ее, как лакомство, ловко отсекая кусок за куском.

– Почему не угощаешь Карарбаха? – спрашивает ее Павел.

– Он около убитого зверя хорошо ел. Разве не видишь, его глаза сытые.

– Он сильно устал.

– Потому что много жирного мяса ел. – И обращается ко мне: – Что в руках держишь?

– Видишь... кожа висит у Карарбаха на затылке, хочу забинтовать раны, но он не дает.

– Как так не дает? – И Лангара толкает старика локтем в бок.

Тот покорно смотрит на нее через плечо. Я подхожу к нему, открываю пузырек с йодом, хочу промыть ножницы и при этом заметно волнуюсь.

– Однако, ты робеешь, – говорит Лангара.

И я не успеваю возразить, как старуха встает, заносит над головой старика свой нож, которым резала печенку...

– Что ты делаешь? – кричу я в ужасе.

Но уже поздно. Лангара отбрасывает отсеченный лоскут кожи.

Я заливаю йодом затылок Карарбаха, раны на лице и перевязываю бинтом. Старик невозмутимо переносит операцию и снова принимается за чай.

Черное небо шатром накрыло стоянку. В думках стоит, не шелохнется, старый лес. И темень, черная, строгая, затаилась в перелесках. Все уснуло. Даже голодные хищники в этот глухой час ночи как бы добреют и перестают рыскать по тайге.

Лангара будто только сейчас заметила на спине старика разорванную дошку. Она приносит маленький туюсок с иглками, нитками, берется за починку. Мне странно: никто не интересуется, кто содрал кожу на затылке старика и оставил следы на лице.

– Лангара, спроси Карарбаха, что с ним случилось на охоте.

– Разве не видишь, медведь мало-мало царапал. Ничего, заживет, – ответила она.

– Но ведь он мог его насмерть задрать! – воскликнул я, удивленный ее хладнокровием.

– Да не задрал! – И, повернувшись к старику, она начала жестами расспрашивать его.

Лицо Карарбаха помрачнело – неохота было ему вспоминать. Затем медленно он стал издавать какие-то гортанные звуки, подкрепляя их жестами рук.

Голос старика звучал, как бубен в дождливый день, слов почти не разобрать, он больше показывал, чем говорил. Так, вероятно, объяснялись наши далекие предки.

Но вот Карарбах смолк. И Лангара сказала мне:

– Твой кобель помог, спасибо ему, а то бы и правда потеряли старика.

Затем она скупно передала мне подробности встречи Карарбаха с медведем...

Сохатый, который утром, на наших глазах, выскочил из леса, видимо, еще накануне был или сонным схвачен медведем, или тот сумел подкрасться к нему во время кормежки. Но медведю не удалось прикончить его. Сохатый – зверь сильный и крепкий. Одним ударом ноги он убивает собаку или волка. И вот, спасаясь от преследования, сохатый и наскочил на нашу стоянку, увел за собою Загрю. Где-то далеко в тайге, после упорной борьбы, собака задержала зверя. Там их и настиг бежавший по следу медведь. Хищник легко прикончил обессилевшую жертву. Но Загря не отступил – не в его это характере, схватился с медведем. А где-то недалеко от места схватки бродил Карарбах в поисках зверя. Собачонка, что шла на поводу у него, услышала лай Загри и привела охотника к туше сохатого в тот момент, когда дерущиеся, собака и медведь, были в чаще и их не было видно. Старик не успел догадаться, кто убил сохатого, как его поймал сзади медведь. Подмял под себя, начал было расправу, но тут на помощь подоспел Загря. Навалился сзади на медведя, принял на себя всю звериную ярость, отвел от охотника страшную смерть... А тем временем Карарбах справился, поднялся, наладил ружье и пальнул по медведю.

Это на Загрю похоже – его работа. У этого кобеля в крови лютая ненависть к медведю и безотчетная преданность человеку.

– Вот Карарбах и говорит: хорошо нынче охотился, много жирного мяса добыл, – закончила рассказ Лангара.

– Какая же это охота, ведь он сам чуть не погиб? Чему же тут радоваться?

– Э-э-э!.. Его много раз амакан ловил, да не может взять, лапы коротки! Понял?!

– А долго ли до беды?

– Старик ловчее, чем амакан. Брось его в тайге без пищи, без ружья, без спичек – проживет. В нем опыт предков. Ты думаешь, опыт он сам нашел? Э-э, он долго-долго шел к нему, его понемногу собирали наши деды, берегли для нас. Без него ой как трудно тут! Карарбах много знает, что к чему, и его не обманет амакан.

– Все же не надо его одного, глухого, посылать на охоту. Ведь не будь Загря таким напористым, сегодня Карарбаха уже не было бы с нами.

– Спасибо твоему кобелю! Однако, не будь у Карарбаха опыта, он не помог бы ему. – И неожиданно добавила: – Отдай нам Загрю, бери наших собак. На собак менять не хочешь – бери трех самых сильных учагов. Соглашайся, больше никто не даст.

– Без Загри, Лангара, нам не найти пропавших людей. А вот если бы Карарбах пошел с нами на Ямбуу – даю слово, отдам вам Загрю без обмана, даром. Вот и ты подумай.

Старуха молчит, но, вдруг приглушив в себе соблазн, энергично протестует:

– Нет, не пойдет! Говорю, у нас и без того беда за бедой. И ты не тащи свою тропу на Ямбуу, лучше мимо ходи, все равно не обманешь Харги. Пойдем с нами, угощать будем жирным мясом, будем пить чай крепкий. Разве есть что лучше на земле? А на Ямбуу пойдешь – сам пропадешь, и люди пропадут. Подумай, где лучше? Послушайся сейчас, потом поздно будет...

– Спасибо, Лангара, но у нас нет другой тропы. Нам надо как можно скорее добраться к Ямбуу.

Пожелав всем спокойной ночи, я направляюсь к своему пологу. Из-за холма до слуха доносится песня. Она растекается радостью по тайге, по холмам, уходит сквозь туман к болотам, будит утро. Это Сетья, подруга Инги, поет младенцу о жизни в родных лесах, о безграничных просторах тайги, о счастье человеческого на земле.

Под пологом темно. Забираюсь в спальный мешок. Сегодня я устал, как никогда. Устал не от дневного перехода, а от всего пережитого за этот необыкновенно долгий день. Уже засыпая, я вижу сквозь ситцевую стенку полога, как Лангара разбинтовывает голову Карарбаха, аккуратно скатывает бинт, кладет его в карман и начинает посыпать золою раны на его голове. Хочу крикнуть, но сил уже нет оторваться от сна.

Удивительно приятно уходить в сон уставшим...

## Глава шестая. Загря

Как долго я спал – не помню. Проснулся, почувствовав на себе чье-то горячее дыхание. Это Загря. У него иногда появляется желание полежать рядом со мною. Он находит меня среди спящих и непременно подберется под бок, положит морду близко к моему лицу и дышит, дышит, пока не разбудит.

Я обнимаю Загрю, подтаскиваю его ближе к себе. В голове воскресает рассказ Карарбаха, и как-то, цепляясь одно за другое, вспомнилась необычная собачья биография, полная приключений.

Воспитывала Загрю злая, властная эвенкийская лайка по кличке Нурка.

Мы тогда работали в Олекминской тайге. Штаб экспедиции находился в поселке Нагорный, на Алданском тракте. Как-то утром, проснувшись, я услышал на крыльце своей квартиры подозрительный шорох. Хотел выйти, но дверь неожиданно открылась, и в нее спиной стал пролезать человек, одетый в оленью доху. Он с силой втащил в комнату дрожащую от страха собаку.

– Глупая, не идет. Думает, я ей хочу хуже сделать... – сказал он, прикрывая дверь.

Незнакомец вскинул на меня черные пытливые глаза. Затем бросил на пол конец ремня, на котором втащил собаку, расстегнул на груди дошку, отошел в угол и, не раздеваясь, сел на пол, подложив под себя полы дохи.

– Садитесь на стул, – предложил я, стараясь скрыть свое недоумение.

– Так привычнее. Старики говорят: у хорошего человека и возле чума тепло, а у худого и у костра не согреешься... Мы из Омахты, что на Учуре. Знаешь? Учиться в Ленинград еду. На половине дороги моя собака Нурка догнала меня. Вернуться бы надо, отвезти ее домой, да ушел далеко от стойбища. Семье не прожить без нее. С кем жена охотиться будет, мясо, пушнину добывать? Хотел по пути оставить собаку у деда рыбака на Гонаме, она потом сама бы убежала в Омахту. Пришел в зимовье, а рыбак уже кочевал к прадедам. Вот и привел собаку сюда, в поселок Нагорный, и думаю: куда ее девать? С собою в машину не велят брать, да и зачем ей Ленинград, пропадет она там без тайги, без зверя. Прогнать хотел – не уходит, бросить в поселке – сердцу больно. Люди болтают, будто у тебя есть хорошие собаки, возьми и Нурку, будь человеком, за нее добром поминать будешь Тиманчика из Омахты. Денег не надо, только слово дай – обижать ее не будешь!

Говорил Тиманчик медленно, веско, как будто заранее продумал каждое слово. А сам не сводил с меня пристального взгляда, осматривая с ног до головы, словно боялся в чем-то обмануться. На вид ему было не более двадцати пяти лет.

Затем он вытащил из-за пазухи самодельную трубку с длинным чубуком, достал из кармана щепотку табаку, дрожащей рукою зажег спичку.

Нурка, прижавшись к стенке, бросала на меня враждебные взгляды. Это была остроухая рыжая сука, статная, с пушистым, как у лисы, хвостом и белой грудкой. Туловище у нее длинное, круглое, ноги тонкие. Я сразу угадал в ней чистокровную эвенкийскую лайку и, конечно, обрадовался.

– Хорошо, я куплю Нурку. Сколько ты хочешь за нее?

– Что ты, оборони бог! – всполошился Тиманчик. – Только дурной люди счастье свое продают. Говорю, возьми без денег, кормить тебя будет, но, пока я жив, Нурку не считай своей. С учебы вернусь – разыщу тебя, возьму ее обратно.

– Согласен. Тогда вернешь мне и деньги.

– Значит, даром не берешь? – сказал он почти зло и решительно встал.

Собака тоже вскочила.

Тиманчик толкнул плечом дверь, шагнул через порожек, но вдруг заколебался, остановился и припал спиной к косяку. Однако времени у него для раздумий не было.

Вернулся, подтащил Нурку к кровати, привязал к ножке.

Я достал из кармана пятьдесят рублей, протянул их Тиманчику. Он решительно отстранил мою руку, сказал твердо:

– Только не забудь, что она не твоя. – И, обращаясь к собаке, добавил: – Дуреха, я приду за тобою!.. – Он хотел еще что-то сказать, но замялся, слова застряли в горле, и он только заскрипел зубами.

Нурка как будто вдруг поняла, что хозяин навсегда уходит от нее, рванулась к нему, упала, взвыла диким голосом.

Но Тиманчик, не оглядываясь и не попрощавшись со мною, ощупью нашел дверь, вышел на крыльцо. Постоял. Протер глаза скомканной шапкой и медленно-медленно спустился по ступенькам.

Громко хлопнула калитка.

Я бросился в кухню, схватил что попало под руку из продуктов, хотел дать Тиманчику на дорогу, но он бежал уже далеко по улице, бежал так стремительно, как будто за ним гналась беда.

В комнате неистовствовала Нурка. Пытаясь оторваться от кровати, она волчком вертелась на натянутом ремне, билась об пол, металась как бешеная. На мои попытки приласкать ее, она угрожающе скалила зубы.

Я поселил ее во дворе. Много дней собака ничего не ела, дичилась и постоянно с тревогой прислушивалась к уличному шуму. Пройдет ли пешеход, донесется ли людской говор, Нурка насторожится, дожидаясь, не откроется ли калитка и не покажется ли ее хозяин.

Она выросла в тайге, в стойбище эвенков. И вдруг ничего привычного не стало! Теперь до ее слуха не долетает манящий шум тайги со знакомыми ей запахами аверей, птиц, трав. Да и люди другие, от них не пахнет дымом костра, и говор совсем незнакомый. И вот ждет Нурка Тиманчика, так и не понимая, почему он оставил ее и так долго не идет за ней.

Когда ждать становилось неважно, она высоко поднимала голову и, устремив взгляд в небо, жалобно выла.

Шли дни, недели... Нурка понемногу привыкла к новой обстановке, присмотрелась к людям, но не доверяла их ласкам. А время делало свое дело...

Наконец мы перевели ее в сарай, где содержались все экспедиционные собаки. Присматривал за ними дед Тихон, добрейший человек, воспитавший для экспедиции не одно поколение зверовых лаек. Попав в собачье общество, Нурка сразу проявила свой характер. Она оказалась настолько властной, что скоро подчинила себе всех собак. Нельзя было без смеха смотреть, как эта рыжая, с виду пугливая собака «отчитывала» огромного кобеля Ангарца, вцепившись в него зубами. Тот после взбучки отходил к своей конуре, притворно визжал от боли и заискивающе поглядывал на Нурку.

Порою ею овладевала тоска. Жизнь на привязи была непривычна ей. И она весь день не вылезала из своей конуры, ничего не ела, в зеленоватых ее глазах появлялась злая непокорность.

В марте Нурка принесла пятерых щенят, рыжих, с белыми, как и у нее, грудками.

Собака стала раздражительной, злоющей, беспощадной к окружающим ее собратьям. Под сараем, где она находилась со своим потомством, воцарилась полнейшая тишина. Все присмирели. Забыли распри, старались подальше обходить конуру со щенками. И даже овсянку хлебали как бы «шепотом».

В эти дни и дед Тихон подпал под настроение своих питомцев. Заходил к ним на цыпочках, разговаривал с собаками жестами и старался долго не задерживаться в сарае.

Через день после появления на свет Нуркиного потомства оценилась Чирва – молодая, ласковая и добрая лайка. Она принесла всего одного щенка, пестрого и до уродства большеголового. Но, боже мой, как она была захвачена материнским чувством! Казалось, все собаки завидовали ей.

Но счастье было коротким. На второй день ко мне в кабинет ворвался дед Тихон.

– Беда стряслась! – выпалил он, задыхаясь от быстрого бега. – У Чирвы щенок пропал!

– Кому он нужен? Найдется, – успокаивал я старика. Чирву он любил.

– Не иначе, Нурка съела!

– С чего бы это она?

– Со злости. Больше некуда ему деваться. – У старика даже слезы на глазах.

И вдруг до нашего слуха донеслись шум, драка, визг... Мы выскочили из помещения, бросились в сарай.

Оказывается, Чирва, вернувшись с прогулки и не найдя своего чада в конуре, каким-то чутьем догадалась, что это проделка Нурки. Забыв о страхе, она с материнской самоотверженностью набросилась на свою противницу. Сколько звериной ярости было в этой дикой схватке собак! Но на стороне Нурки были все преимущества: сила, ловкость, жестокость. Не успей дед Тихон плеснуть на дерущихся ведро холодной воды, она бы задушила Чирву.

Потеря щенка для Чирвы, впервые ставшей матерью, была поистине тяжелым горем. Она еще несколько дней искала его по всем закоулкам сарая, в чужих будках. Малейший шорох настораживал ее. Через некоторое время Чирва, казалось, смирилась с утратой, но было что-то необъяснимое в ее поведении.

Чирва перестала ласкаться, отошала, была всегда чем-то озабочена, казалась неряшливой и напоминала бродячую собаку, занятую поисками пищи. Все чаще забегала в нашу экспедиционную столовую, попрошайничала, при случае даже воровала, чего никогда с ней раньше не случалось.

Дед Тихон, наблюдавший за ней, заметил, что, когда из Нуркиной конуры доносился писк щенят, Чирва вскакивала, как от удара кнута, и подолгу прислушивалась. В ее печальных глазах отражалось беспокойство, точно в каждом писке ей слышался зов погибшего щенка.

Зато Нурка, несмотря на то что кормила пятерых прожорливых щенят, раздобрела. Она выглядела гладкой, чистой. Но к конуре по-прежнему никого не подпускала, будто что-то пряча от посторонних глаз.

Однажды, сидя рано утром за работой, я услышал сильный стук в окно. Барабанил дед Тихон.

Старик был сильно возбужден, морщинистое лицо, обычно грустное, сияло необыкновенной радостью. Он показывал рукою на сарай и звал меня туда.

Я вышел, не понимая, что могло случиться с собаками.

В сарае нас встретила обычная тишина, потревоженная вспугнутой с пола стайкой воробьев. Собаки в ожидании корма лениво дремали на своих местах. Нурка куда-то убежала.

– Да вы гляньте ось сюда, – сказал дед Тихон, показывая на конуру Нурки.

Я глазам своим не поверил! В будке Чирва кормила Нуркиных щенят. Она лежала на правом боку, а у сосков копошились живые рыжие комочки, сладостно чмокая крошечными ртами. Голова Чирвы находилась у самого входа, уши были насторожены, а глаза переполнены блаженством.

Мы еще не успели подойти к ней, как она, видимо, уловила своим тонким чутьем приближение Нурки, мгновенно вырвалась из будки, шмыгнула в свою конуру. Но, выскакивая, Чирва вынесла к краю будки двух щенят. Один из щенят был пестрый, большеголовый...

Нурка, прибежав в сарай, нырнула в конуру и закрыла вход своей недружелюбной мордой.

Дед Тихон стоял обрадованный, умиленный всем случившимся, не зная, что и сказать.

Так вот почему Чирва сильно похудела, всегда была такой озабоченной, попрошайничала! Еще бы, кормить шестерых щенят, не получая, как Нурка, добавочного пайка для «кормящей матери!».

Нам не удалось проникнуть в другую тайну, которая не меньше, чем пропажа пестрого щенка, поразила нас: какое чувство побудило Нурку украсть у Чирвы ее единственного щенка? Может быть, она угадала в этом большеголовом щенке талант зверовой лайки и не надеялась, что молодая, неопытная мать разовьет в нем эту способность, взяла щенка под свой надзор. А может, Нурке мало было своих щенят для удовлетворения материнского чувства, и она по праву сильного присвоила чужого щенка. Многие еще в жизни животных лежит за чертою нашего понимания и познаний.

Прошел год. Разобрали рыжих, повзрослевших Нуркиных щенят полевые подразделения. Но, как ни странно, Нурка продолжала ревностно опекать пестрого кобелька – Загрю. Рос он на удивление быстро и в его экстерьере все отчетливее проступали черты сибирской лайки. Все статнее становился, но, казалось, все больше глупел. Рос неласковым, ленивым. Мы бы сразу избавились от такой собаки – ни к чему в тайге лодырь! – но у нее оказался еще один покровитель – дед Тихон. Старик был убежден, что у Загри еще не кончился щенячий возраст, что все это пройдет и он непременно совершит какой-то подвиг, и ни за что не хотел расставаться с ним.

Собаки в экспедиции несут тяжелый труд. Невозможно представить нашу работу без этих умных, выносливых животных. На собачьих упряжках мы перебрасывали грузы, пересекали огромные пространства тундры и тайги, а в трудные времена, когда над лагерем нависала угроза голода, собаки помогали нам охотиться, добывать лосей, медведей, сожкоев.

Время шло, а Загря никак не мог выйти из «щенячьего» возраста. Мы же в конце концов смирились с его присутствием, с его удивительной ленью. Но, когда мы хотели похвалиться своими породистыми собаками, показывали Загрю. Это было единственным утешением за долгое терпение к нему.

Помню, осенью мы пробирались с караваном груженых оленей по старой гари вдоль речки Ытымка. С нами были собаки Нурка и Качи. Загря в счет не шел, хотя и сопровождал нас. К концу дня идущий впереди проводник наткнулся в осиннике на свежую жировку сохатых. Это было кстати, у нас давно не было мяса, к тому же оставалась еще не использованной одна лицензия<sup>13</sup>. Мы отпустили собак, а сами свернули к реке и там решили заночевать. Еще не успели развьючить оленей, как до нас донесся лай Нурки, а затем и Качи. Собаки держали зверя.

Лай разгоряченных псов разносился по тайге звонким дуэтом, то сливался с треском сухостоя, то стихал в минутной передышке, чтобы возникнуть с новой, еще большей силой.

Я схватил карабин и бросился на лай.

Пробежал болото, впереди глухая стена ельника. За ним злобный, непрерывный, захлебывающийся лай. В голосе Нурки слышалась рыдающая нотка – зверь вот-вот прорвется и уйдет. Я выскочил за перелесок с подветренной к зверю стороны.

Старый сохатый стоял в мелком осиннике, погрузив глубоко в податливую землю ноги и низко опустив тяжелую голову с могучими рогами. Он отбивался от собак. Из открытого рта вместе с горячим дыханием вырывался угрожающий стон, глаза кровянились от злобы. А Нурка и Качи отчаянно наседали, наскакивая на зверя спереди.

---

<sup>13</sup> Лицензия – разрешение Охотинспекции на отстрел зверя.

Сохатый вдруг рванулся вперед, подминая под себя не успевшего отскочить Качи, и хотел поддеть рогами Нурку. Но собака вовремя увернулась, отпрыгнула в сторону, упала, но мигом вскочила и, обезумевшая, пренебрегая опасностью, огромным прыжком оседлала зверя.

Сохатый вздыбил, взревел, стряхнул со спины расвирепевшую собаку и, широко размав ноги, кинулся к болоту.

Тут уж было не до стрельбы. Я бросился к Качи, поднял его на руки. Он умирал, раздавленный зверем.

А рядом, под высокорью, на земле спокойно лежал Загря, не обращая внимания на схватку. Он озабоченно искал в своей лохматой шубе блох. В этот момент я готов был пустить в него пулю и не знаю, что удержало меня. Помогли он собакам, мы бы не потеряли Качи, великолепного рабочего пса.

И все же Загря продолжал оставаться с нами. Мы терпели его присутствие как наказание за какие-то, не совершенные нами проступки.

Когда Загре исполнилось два года, кобель, будто назло всем нам, стал чертовски великолепен! Он уже достиг предельного роста. Все в нем: уши, ноги, корпус, голова – было удивительно пропорционально. Самый великий знаток не смог бы обнаружить в его экстерьере ни малейшего изъяна. Но в упряжке он по-прежнему не ходил и по зверю не работал.

В тот год весною мы шли с двумя собачьими упряжками к перевалу через Сектантский хребет. В тайге была распутица. Передвигались только ранними утрами, пока держался наст. Загря плелся, как обычно, вслед за караваном.

Мы уже находились близко у цели, как на глаза попался свежий след крупного медведя. Он, видимо, только что вышел из берлоги и направился куда-то на солнечные склоны гор. Пустили по следу Нурку и лучшего медвежатника Турпана. Наст еще выдерживал собак, и им легко было настичь зверя. Мы с проводником бежали за ними на лыжах. Загря был с нами.

Собаки настигли медведя в соседнем логу. Тот пытался избавиться от них бегством. Но тут Турпан подвалил справа и, изловчившись, на всем скаку рванул зверя за «галифе». Медведь взревел и бросился за ним, а Нурка только этого и ждала, припала к нему слева и больнохватила зубами за зад. Он погнался за ней. Этим воспользовался Турпан... Так собаки, то справа, то слева до крови расчесали ему «галифе». Медведь остановился, стал обороняться. Нурка и Турпан быстро изменили тактику, подступили к нему спереди...

В таком положении мы и застали их на дне пологого ложка. Лай собак, приглушенный стон зверя, позволили нам незамеченными подкрасться поближе. Недалеко от нападающих собак невозмутимо лежал на снегу Загря. Такое равнодушие я уже больше не мог терпеть и твердо решил отделаться от этого бездельника. Но сначала надо было покончить с медведем.

Прогремел сухой, короткий выстрел. Зверь упал, вскочил, кинул в нашу сторону обезумевший взгляд, рванулся вниз по ложку и всей своей огромной тушей накрыл не успевшего отскочить Загрю... Медведь лежал на снегу черным комком, раскинув бездействующие лапы и засадив глубоко в снег лобастую морду. Из-под него с жалобным стоном выбрался Загря. Но, выбравшись, не убежал. Нет. Он устался в упор на мертвого медведя.

С ним произошло что-то невероятное: какая-то сила заставила его преодолеть инертность, пробудила врожденный инстинкт зверовой лайки.

Загря рвал на боках, на загривке медведя шерсть, рычал, давился от ярости и, окончательно вызверившись, вдруг завыл, задрал высоко морду...

На второй день к полудню мы выбрались на верх безыменного отрога и там расположились лагерем. Собачьи упряжки вернулись за медвежьим мясом, но Загря с ними не пошел.

Мне нужно было подняться на одну вершину, осмотреть горизонт и определить наивысшую точку хребта. Я шел не торопясь по водоразделу, приминая лыжами хрустящий снег. Видимая с отрога равнина уходила в дымчатую мглу и там, в бесконечности, теряла свои

очертания. Горы поднимались над ней высоченными гольцами. На них всюду следы давнишних разрушений: цирки, провалы, одинокие останцы и каменистые ребра, точно обручи, опоясывающие хребет сверху до самого подножья.

Уже вечерело. Освещенная закатом, засыпала уставшая земля. Замирали лесные звуки. И вдруг где-то далеко-далеко точно ударили в бубен. Я остановился. Звук зачастил.

Что бы это значило? Неужели лает Загря?! Ну конечно, он, больше никому!

Свернул на звук. Понесся вниз по скалистому обрыву. Оттуда все яснее доносился лай.

Ниже рваные уступы скал. Схожу с лыж, осторожно спускаюсь по россыпи. Лай все громче...

Иду осторожно вдоль каменной стены по карнизу, выглядываю из-за уступа. Где-то близко зверь. Загря мечется метрах в пятидесяти под скалою, разгоряченный, злой. Морда поднята кверху. Но мне не видно, кто бы это мог быть? Спускаюсь ниже. Бешено бьется сердце, терзаюсь любопытством. Но вот сделан последний шаг к обрыву, я закрепился, чуточку высунул голову – и буквально застыл: на одном из остроконечных шпилей соседней скалы стоял снежный баран – белобородый круторог, житель безмолвных северных гор. Собрал на крошечном выступе, не больше чем в ладонь, все четыре ноги и опустив тяжелую голову, он следил за Загрей. Спокойный, уверенный в своей недосыгаемости, круторог казался каменным изваянием.

Одно мгновение – и баран, обнаружив человека, затыжком прыжком перебросил себя на соседний уступ, пугливо скакнул влево, еще и еще и, чудом удержавшись над обрывом, исчез из глаз, оставив лишь грохот камней.

Вот тут мы с Загрей помирились и признали друг друга.

Он все больше и больше привязывался ко мне.

Ни на одну из наших собак не был он похож. К упряжке нам его так и не удалось приучить – слишком он был гордым. С собаками не дружил, на зверя ходил в одиночку, и никогда на нем не было ран от схваток с противником, все боялись этого с виду угрюмого пса.

Страстью кобеля были медведи. В схватке с этим сильным зверем смелости Загри позабывал бы африканский дикий буйвол.

Трудно сказать, кто привил ему эти ценные качества медвежатника. От Чирвы он наследовал красоту и силу, а Нурка, видимо, привила ему эту страсть зверовой лайки. Но многое он приобрел сам, работая со зверем в одиночку.

Судите сами.

Мы исследовали Прибрежный хребет у берегов Охотского моря. Лето по условиям погоды было трудное, работа задерживалась, и экспедицию захватила зима. Продовольственные запасы истощились. Населенных мест поблизости не было. Снежные бураны не подпускали к нам самолеты. Надо было любой ценой продержаться еще месяца полтора, чтобы закончить работу. Решили заняться охотой.

Нашим проводником был местный эвенк, хороший охотник Илько. С ним мы и отправились промышлять зверя.

Места там низкие, заболоченные, покрытые старыми гарями. С нами были три зверовые лайки: Нурка, Буска и Загря. Собаки бежали молча. Вокруг никаких следов. Вдруг далеко-далеко, левее темной полосы сырлесья, что-то загремело, точно гроза ударила по сухой, звонкой лесине. Потом там же будто вскрикнул кто-то. Залаяла Нурка, а затем и Буска.

Грохотом падающих деревьев всколыхнулась гарь. Шум возрастал, надвигался на нас все громче, яснее. Казалось, огромное стадо слонов бежало через гарь, сбивая и ломая по пути деревья.

Мы выбрались к просвету, поднялись на ствол упавшей лиственницы и увидели потрясающее зрелище. Черный зверь – сохатый, огромный и длинный, ломился через гарь. Он прошел мимо нас метрах в трехстах. Мы и не подумали стрелять – с такой быстротой соха-

тый бежал по лесному завалу. Могучими рогами он рушил сухостой, грудью насакивал на пни, на сучья, ломал валежник, и треск падающих деревьев напоминал беспорядочную пальбу из пушек. Дикий страх ослепил зверя и безжалостно гнал напролом через гарь.

– Худой место пошел зверь, – хмуря брови, сказал проводник Илько. – Он уже встретился с собаками и знает пулю – иначе не бежал бы, как бешеный.

– Ты думаешь, по нему уже стреляли? – спросил я.

– Стреляли, – повторил он убежденно. – Может, ранен был, да ушел. Теперь боится собак, вот и бежит.

– Что же делать будем?

Илько посмотрел на меня удивленно.

– Разве можно собак бросить, когда они у зверя?

В этот момент появился Загря. Кобель не пошел за зверем вместе с собаками, он никогда не работал даже с Нуркой, к которой был очень привязан.

Весь день до полночи мы шли по следам зверя, представляя по отпечаткам на снегу картину его схватки с собаками. Сохатый отчаянно отбивался от преследователей и уходил в глубину тайги все дальше от нашей стоянки. Мы решили прекратить бесполезную погоню и только развели костер для ночевки, как заявили Нурка и Буска. Вид у них был ужасный: хвосты повисли, уши упали, из открытых ртов свисали языки. Подбежав к нам, они упали на снег в полном изнеможении. Потеряв надежду остановить сохатого, они вернулись своим следом.

А где же Загря? Его нигде не было видно.

Окликнул собаку раз, другой. Значит, как всегда, один убежал догонять зверя. Трудно было поверить, что ему одному удастся сделать то, чего не сделали Нурка и Буска. Но и не было случая, чтобы от него уходил зверь, даже если для этого требовались не одни сутки.

Илько расчистил ногами под собою снег, стащил с головы беличью ушанку, припал ухом к земле, долго слушал.

А я следил за ним и с ужасом думал: неужели придется идти к Загре, расставаться с отдыхом, с костром, с хвойной постелью и опять мять ногами снежную целину?

– Лает, – сказал Илько, поднимаясь.

Мы вернулись к костру. Молча, не сговариваясь, сложили котомки, встали на лыжи.

– Ничего, отдохнем у добытого зверя. С мясом ночь куда веселее.

Я позвал собак. Ни одна не встала, даже ухом не пошевелила. Так и остались лежать, пригревшись у костра.

Ночь лунная, тихая. Лес в алмазах. Под ногами хрустящий снег; и кажется, что ты шагаешь по сыпучему серебру.

Долго идем по следу зверя. Километра через три кобель догнал сохатого. Отчаянно сопротивляясь собаке, лесной великан разбросал на месте схватки снег, колодник, изломал кусты. Сразу угадывалась работа Загри, его беспощадность.

За кочковатой марью всхолмленную землю покрывает редкая тайга. Все холмы по ту сторону увала залиты фосфорическим светом. А в ложбинах стелется прозрачными облачками туман, будто сотканный из света и тени. Туман как будто вздрагивает от прикосновения лучей луны и оживает.

Мы здорово устали. Легкие котомки кажутся теперь тяжестью. Шаги сузились. А ветерок то вдруг набросит лай, подбросит нас, то пронесет его мимо. И наконец, лай стих, ушел от слуха и больше не возобновлялся..

– Тьфу, сатана, опять убежал! – сказал Илько, безнадежно махнув рукой в сторону стихшего лая.

Я взглянул на часы – скоро рассвет. Мы молча свернули со следа, взобрались на увал, где чернела густая таежка хвойного сыролесья, чтобы там заночевать. Мы выбились из сил и уже не надеялись догнать зверя.

Вдруг Илько схватил меня за руку, показал вниз. Там, на снежной белизне, виднелось подозрительное черное пятно. Присмотрелся – это спит зверь.

Стоим не шевелясь, как пни. Но чуткий слух зверя, видимо, уловил наше присутствие. Он поднял голову, поставил торчмя свои длинные уши, осмотрелся, долго прислушивался и, успокоившись, опять заснул.

Вокруг посветлело. Несколько поодаль от зверя я заметил на снегу серое пятно. Загря!.. «Неужели убит?» – подумал я, и эта мысль пронзила меня острой болью.

Перевожу взгляд на Илько. Старик улыбается, шепчет мне на ухо:

– Оба спят, стрелять не надо.

И я вижу, как подобрело его лицо.

Загря лежит, свернувшись в клубочек и уткнув нос в пушистый хвост. Спит и замученный сохатый, разбросав длинные ноги и положив на снег настороженную голову. Даже рассвет не в состоянии разбудить их.

Никто из нас и не подумал стрелять. Рука с карабином невольно опустилась. Илько подает пальцем знак – отходить – и начинает осторожно, будто под ним пропасть, поворачивать лыжи на свой след. Я делаю то же самое.

Мы неслышно отступаем. У меня не осталось ни горечи, ни сожаления, что так неудачно закончилась охота. Я даже доволен тем, что чувство, присущее натуралистам, перебило в нас обоих страсть зверобоев.

Может быть, больше всего я и люблю Загрю за то, что бывает он безмерно храбрым перед сильным противником и до наивности снисходительным к слабому.

Нурки уже не было с нами в этом походе к Ямбую. Из Ленинграда после трехлетней учебы вернулся Тиманчик. Он направлялся в свой далекий поселок Омахта, чтобы взять семью и переехать в районный центр, куда после учебы послан на работу. В Нагорном молодой эвенк зашел в штаб экспедиции. Мы встретились во дворе. Я не сразу угадал в нем хозяина Нурки. Одет он был по-городскому, при галстукке. Непривычный для эвенка зачес скрадывал скуластость лица. На ногах – остроносые ботинки. Только походка осталась стремительной и легкой по-прежнему.

– Нурка жива? – спросил он, волнуясь.

Видно, все годы разлуки с любимой собакой мучил его этот вопрос.

А я, здороваясь с ним, с болью почувствовал, что не смогу расстаться с Нуркой. Мысленно стал подыскивать доводы, чтобы оставить ее у себя. Я готов был заплатить любую сумму. Но мне вспомнилось, как Тиманчик втащил собаку в мою комнату, привязал ее к ножке кровати и, слизывая с губ скатывающиеся слезы, говорил: «Пока я жив, ее своей не считай». И мне стало неловко за свои намерения. Я ответил, что Нурка жива и здорова.

– Так позови же ее скорее. Может, она меня забыла... – Он был полон нетерпения.

– Тихон Петрович, – окликнул я деда, рубившего дрова за сараем, – приведи сюда Нурку.

Тот посмотрел в нашу сторону и, не торопясь, подошел ближе. Подозрительно посмотрел на Тиманчика.

– А зачем она понадобилась? – спросил он резко, заподозрив что-то неладное.

– Я ее хозяин, – ответил Тиманчик.

– Ишь ты, нашелся! За давностью она уже не твоя.

– Такого договора не было!

Я увидел, как эвенк вспыхнул, угрожающе глянул на старика, готовый защищать свое право на собаку.

– Тихон Петрович, приведи Нурку, – повторил я.

– Ну разве только показать, – упорствовал дед, направляясь к сараю.

С минуту мы стояли молча. Я видел, как Тиманчик нервно покусывал губу, как на его скулах вздувались желваки, и невольно подумал: а что, если Нурка действительно не узнает его?

Но тут показался Тихон с собакой. Тиманчик сорвался с места, быстро-быстро пошел ей навстречу. Вот они рядом... Собака тщательно обнюхала его, равнодушно потопталась на месте и, увидев меня, натянула поводок. Раздосадованный Тиманчик схватил ее за шерстистые щеки, поднял морду, заглянул в глаза, сказал что-то на эвенкийском языке, стал повторять громче и громче, затем с силой отбросил собаку от себя, повернулся и поспешно ушел, не попрощавшись и не оглянувшись, как и в тот раз, когда он впервые привел ко мне Нурку.

Но Тихон показал ему не Нурку, а ее дочь, как две капли воды похожую на мать.

– Зачем ты это сделал? – крикнул я.

– Она как мать, не различишь, пусть ее и берет, а Нурку не отдам! – упрямо ответил он, пряча от меня взгляд.

Я бросился в сарай, отвязал Нурку-мать. Она по привычке метнулась по двору, но, наткнувшись на след Тиманчика, вдруг оцепенела. Раздутыми ноздрями втянула воздух, ткнулась носом в след и, уже ничего не различая перед собой, рванулась к выходу, перемахнула через калитку...

Мы с дедом выскочили на улицу. Тиманчик лежал на пыльной земле, сбитый собакой. А она, ласкаясь, прижималась к нему, лизала его лицо, нежно поскуливая. Тиманчик с минуту не шевелился и не сопротивлялся. Потом поднял ее морду, заглянул в широко открытые глаза, обнял, и так они лежали некоторое время на сухой земле, оба бесконечно счастливые.

На второй день, рано утром, Тиманчик уходил с Нуркой в далекий путь. Мы собрались проводить его. Ничто уже не могло разлучить эвенка с собакой. Смирился и дед Тихон. Подпирая плечом забор, он нервно жевал кончик бороды и, не отрывая глаз, следил за удаляющимися силуэтами.

– Ладно, хай поживэ еще с ним, – сказал он, вытирая влажные глаза.

## Глава седьмая. Дух амакана на стойбище

Отбрасываю край полога и, высунувшись, жадно глотаю воздух. Утренняя прохлада освежает лицо. Выбираюсь наружу. Уже день. Яркий солнечный свет слепит глаза. Детвора на ногах. Пастухи готовятся в путь.

На костре в большом котле варится завтрак – целая медвежья голова и две лапы, принесенные вчера Карарбахом: Павел и Долбачи упаковывают свои постели, складывают вещи.

– Что нового, Павел? – спрашиваю я. – Была ли связь со штабом?

– Из штаба хорошие вести. Завтра Елизар Быков выходит от Короткова к Ямбую. Давненько мы с ним не виделись. По случаю такой встречи не грешно и... – Он выразительно щелкнул пальцем по горлу.

– А есть что?

Павел не ответил, но по хитрящей ухмылке я догадался, что не иначе как у него припрятан спирт.

Разговаривая с Павлом, я заметил, что в стороне, прямо на земле, подобрав под себя ноги, прикрытые широкой ситцевой юбкой, сидит Инга, кормит дочь. На ее молодом лице горит румянец, она довольна, спокойна и полна материнского блаженства.

Чудесным утром встречает природа новорожденную! Сколько блеска, сколько очарования в листопадных кострах, в пурпуре осенних холмов, в звенящей струе ручейка! А эти лиловые утренние тени, прозрачная дымчатая вуаль, сквозь которую все вокруг кажется торжественным и необыкновенным.

Вокруг Инги собрались все дети стойбища. Они не могут скрыть удивления. Присев на корточки, с любопытством следят за новорожденной, пока она, прильнув к груди матери, захлебывается молоком и чихает. Все ребятишки приходят в восторг.

С болью в сердце вспомнилось об Аннушке. Спешу ее проведать.

На постели больной сидит Сулаккан и, поддерживая левой рукой голову дочурки, поит ее оленьим молоком. Она не замечает меня. Аннушка дышит тяжело, влажные губы ее шевелятся, и только глаза на морщинистом, иссушенном болезнью личике засветились живым огоньком. Это радует, но далеко еще не обнадеживает.

У ее ног сидит Битык. Мальчишка смотрит немигающими глазами на сестренку, что-то ей шепчет, показывает на пальцах какую-то фигурку.

Увидев меня, он вскакивает и, пяясь, исчезает из чума.

Устраиваюсь на его место, беру безвольную ручонку больной, прощупываю пульс. Аннушка ловит мой взгляд черными глазами. И я вижу в них жизнь. Ей-богу, жизнь! Кажется, что еще никогда у меня не было большей радости, чем та, которую подарил мне этот осмысленный, живой взгляд детских глаз! Неужели спасена?!

Очередной укол Аннушке делала теперь Сулаккан под моим наблюдением. Женские руки оказались более ловкими, нежели мои. Я передал ей весь запас пенициллина, шприц и все медикаменты.

У входа меня ожидал Битык. В руках он держал лук, тот самый, который предлагал в обмен на карабин. Он решительно протянул его мне.

Нас окружила детвора. Я растерялся, не совсем понимая, что хочет мальчишка.

Подошла Лангара. Между нею и Битыком произошло короткое объяснение. Затем она сказала мне:

– Битык отдает тебе лук.

– Спасибо. Но я, к сожалению, не могу отдать ему взамен карабин. Я вчера объяснил Битыку. Может, он хочет что-то другое получить? Пусть скажет.

– Не менять он хочет, – перебила Лангара. – Даром тебе дает, за Аннушку. Понимаешь?

– Скажи ему, за это не благодарят. Люди должны всегда в беде помогать друг другу, не требуя ничего взамен. Ведь и по вашим законам так же?!

Лангара переводит мои слова всем сбежавшимся ребяташкам. Битык согласно кивает головою. Но как только Лангара умолкает, он подходит ко мне и с еще большей настойчивостью сует мне в руки лук. Я теперь не отказываюсь. Растроганный, притягиваю мальчишку к себе, снимаю с руки свои походные часы, надеваю ему на руку. Он сначала вырывается, но потом останавливается, с восторгом смотрит на подарок. И наконец, окруженный детворой, бежит к развесистой ели. Там, сбившись в кучу, ребята долго «колдуют» над часами.

На стоянке с раннего утра командует Лангара. Она появляется всюду. Ее властный голос слышится то у костра, то в чуме или доносится от ручья. Удивляешься, откуда только у этой старухи столько энергии!

Наступает время завтрака. Лангара почему-то усаживает женщин и детей отдельно. Их еда – вяленое мясо, масло, горячие лепешки и чай.

А для мужчин, расположившихся у костра, она вытаскивает из котла медвежью голову, лапы и кладет на широкий лист бересты, рядом ставит котел с отваром. Это даже не отвар, а почти чистый медвежий жир. На всех – одна ложка.

Я не выдерживаю, подхожу к Лангаре.

– Скажи, почему женщины и дети сегодня едят отдельно?

– Потому что сейчас мы будем отпугивать дух убитого амакана. Это делают мужчины, хотя можно и женщинам, которые сами ходили на амакана.

– Не понимаю, о каком духе и о каком медведе ты говоришь?

– Которого убил Карарбах... Разве не знаешь, что наши обычаи требуют уважать дух амакана, он не должен догадаться, кто убил его. Иначе все время будет сбивать нас с тропы, посылать не туда, куда нужно, и людей и стадо. А ночами будет пугать оленей, покоя никому не даст...

– Ты тоже веришь этому? – спрашиваю я.

– Я не верю, – шепотом отвечает Лангара. – Они тоже не верят. – Она кивает головой в сторону женщин и детей. – Но так хочет Карарбах. Он старый люди, постоянно живет в тайге, понимает только ее, другого ничего не видел и не знает. Мы не должны ругать его или отговаривать. Пусть уносит в могилу обычаи стариков. И тебе говорю, когда кушать станешь, делай все, как будем делать мы, иначе обидишь Карарбаха. Меня тронула Лангара уважительным отношением к глухому старику, и я становлюсь покорным участником древнего обряда отпугивания духа медведя от жилища кочевников.

Садимся тесно, плечом к плечу, вокруг медвежьей головы. Я стараюсь запомнить до мельчайших подробностей все, что тут совершается, – ведь этот суеверный обряд, как и многие другие, уходит в небытие даже здесь, в глуши лесов. Но их надо знать, чтобы лучше проникнуть в жизнь этого народа.

Лесные кочевники не могли понять многих явлений природы, не в силах были изменить их и естественно приписывали могуществу духов, способных угонять зиму, покрывать землю зеленью и размножать зверей, птиц, распределять между людьми добро и зло, распоряжаться жизнью и смертью. Суеверие вообще сопутствовало человеку с его колыбели, и мы не должны теперь осмеивать его. Это прошлое народов, с тою лишь разницей, что одни люди ушли от него раньше, другие – позже.

У Карарбаха с потерей слуха, а это случилось давно, оборвалась нормальная связь с внешним миром. Многое ему не стало доступным, и он на всю жизнь остался на той ступени развития, в какой его застала глухота, убежденным, что все земные дела от духов, старался не гневить их.

Трапезу начинает Лангара. Она зачерпывает из котла полную ложку жира, подносит ко рту. Остальные хранят гробовое молчание.

– Ку! – кричит старуха, обернувшись в сторону леса, и глотает жир.

«Ку-у-у!..» – разносит эхо по тайге.

Затем Лангара долго говорит по-русски – видимо, в знак уважения к нам.

– Амакан, – почти ласково обращается она к невидимому собеседнику, – ты думаешь, мы тебя убивали? Не-ет, что ты, и не собирались! Как можно! Мяс у нас полные потки, сам посмотри. Тебя убивали другие люди. Мы его не знаем, чужой. У тебя своя тропа, он хромой, догоняй его. Ну-ну, скоро догоняй, он так ушел. – Старуха машет рукою в сторону вчерашнего своего следа. Затем передает ложку сидящему слева сыну Майгу, достает нож, ловко отсекает щеку от медвежьей головы, долго жует.

Майгу тоже черпает ложкой жир, выпрямляется весь, чтобы Карарбах видел, кричит:

– Ку!

Он выпивает жир и начинает что-то быстро говорить по-эвенкийски, энергично жестикулируя. Видимо, он тоже уговаривает медведя уйти от табора, поторапливает его.

Майгу передает ложку Долбачи, а сам берет из рук Лангары медвежью голову, выбираем кусок полакомее.

Все напряженно ждут, когда дойдет очередь до меня.

Наконец ложка в моих руках. Я пытаюсь во всем подражать пастухам. Зачерпываю из котла и кричу:

– Ку! Ку!..

Силнось проглотить теплый, совершенно не соленый жир. Уж я приноравливаюсь и так и эдак. С большим трудом мне удастся сделать один глоток. Для приличия, как и все, аппетитно облизываюсь. А сам чувствую, что вот-вот жир пойдет обратно. Сиж у не шевелясь. Потом с досадой говорю, обращаясь к медвежьему духу:

– Какого дьявола ты тут топчешься, косолапый! Убирайся отсюда, или догоняй хромого, кто убил тебя.

– Ты как настоящий эвенк, правильно говоришь, – поддерживает меня Лангара, берет у меня ложку и передает старику.

А Долбачи уже сует мне медвежью голову и лапу. Я достаю нож, отрезаю кусок мяса, начинаю жевать.

Карарбах распрямляет сгорбленную спину. Лицо его сосредоточено. Старик, как и все, черпает жир из котла. Подносит его дрожащей рукой ко рту, проглатывает.

– Ку! – хрипло вырывается из его горла. Затем старик что-то бормочет и машет рукою в сторону леса.

Пожалуй, Карарбах один только и относится к этому древнему обряду со всей серьезностью.

– Тебе сказать, что говорил он? – спрашивает Лангара.

– Ну конечно.

– Карарбах говорит: «Это не люди едят тебя, амакан, ты не думай так, обманешься. Тебя клюют коршуны, вороны. Твою голову и лапы срезал хромой. Пока он близко, догоняй его, потом далеко уйдет, без лап не догонишь. Иди, иди, не оглядывайся...»

Жизнь человека в тайге всегда была полна всяких опасностей. С тех древнейших времен, когда появились люди в лесах, они вели постоянную и упорную борьбу с медведем. Очень часто их преследовали неудачи. И пожалуй, даже сейчас самый опасный враг охотника – это медведь. А чем раньше мог эвенк одолеть дикую силу зверя? Лиственничными самострелами, петлями, ловушками или рогатиной. И охотник нередко погибал в этой неравной схватке. Извечный страх перед зверем, особенно у стариков, и породил этот необычный обряд поклонения духу медведя.

Отпугивание духа амакана закончено. Закончен и наш своеобразный, не очень-то сытный завтрак. Пастухи долго пьют чай, и стойбище приходит в движение. Пока ловят оленей,

старик бережно собирает все кости, даже самые мелкие, остатки от трапезы. Складывает их в старенький чуман, перевязывает ремешком, относит подальше от огнища и там ставит в развилку толстой березы.

– Ты что так смотришь? Разве не знаешь, что по обычаю предков нельзя бросать кости амакана на земле, – поясняет Лангара. – Амакан подумает, мы их взяли с собой, не отстанет от каравана, неудачу пошлет, а так сразу увидит их на дереве.

Карарбах срубает небольшой толщины лиственницу, на высоте полутора метров от земли, протесывает оставшийся ствол с четырех сторон, кладет на него медвежий череп глазницами на восток и, привязав, украшает его стланиковыми ветками – дух медведя не должен далеко уходить от своей головы, а это важно, когда стадо находится в пути.

Олени завьючены, все готовы трогаться в путь. И только Инга с ребенком на руках растерянно стоит у догорающего костра. У нее нет еще опыта, как подготовить новорожденного в путь, ждет, когда кто-то из женщин ей поможет.

Я подхожу к Инге, приоткрываю край одеяльца: девочка не спит. Смотрит сквозь узенькие щелочки глаз. Личико смуглое, кругленькое.

– Что смотришь, лючи? Нравится?! – спрашивает мать воркующим, немного хриплым голосом.

– Был бы у меня сын, взял бы ее в снохи.

– А может, она не захочет? – улыбаясь, отвечает в тон мне счастливая Инга.

– Это может быть. А как же вы ее назвали?

– Дора.

– Что это значит по-русски?

– Родилась, когда был далекий гость.

– Хорошее имя. Теперь я буду считать себя ее крестным отцом. Согласна?

– Ладно! – И Инга радостно закивала головой, вряд ли понимая смысл моего предложения.

Карарбах принес из перелеска трухлявый, совершенно сухой пень и охалку свежих, душистых еловых веток. Пень он бросил на землю и что-то крикнул Лангаре, а сам присел к маленькой походной люльке, сделанной из тонких лубков, вынянчившей не одного ребенка. Он разорвал хвойный лапник на мелкие веточки и любовно выстлал ими дно люльки.

«Не жестким ли будет первый путь новорожденной?» – подумал я, следя за работой старика.

Лангара опустила на землю рядом с люлькой и привычным ударом о коленку раздробила трухлявый пень, принесенный Карарбахом, на мелкие части, растерла в пыль податливые куски, просеяла сквозь пальцы на подол юбки. Затем взяла у Инги новорожденную, притихшую, как будто в ожидании, развернула ее и с нежностью склонилась над смуглым живым комочком. Она тихонько шлепнула девочку огрубевшей ладонью и засмеялась, когда та энергично дрыгнула ножкой, ударив старуху по лицу. Лангара в восторге погрозила ей пальцем и поцеловала крошечные розовые пятки Доры, еще не знающие тропы.

Разостлав на земле мягкую, хорошо выделанную шкуру кабарги шерстью вверх, она надела на девочку с помощью Инги голубую фланелевую распашонку, чепчик, присыпала древесной трухой потные места у ребенка, уложила его на шкуру. И тут девочка заорала, как бы протестуя, что ее заворачивали в шкуру. Инга встревожилась. Но Лангара, не обращая внимания на крик, быстро завернула внучку в одну, затем в другую шкуру, перевязала ремнем и положила в люльку.

Дальше Инга сама заканчивает все, чтобы ребенок хорошо перенес этот путь, сразу же привык к тайге, к трудностям кочевой жизни. Она отворачивает от лица новорожденной край шкуры – пусть дышит свежим смолистым воздухом, впитывает запахи леса, болот и слышит пощелкивание копыт оленей. Подкладывает под голову маленькую подушку, а под

бока – еловый лапник, чтобы не так качало на ходу. Долго смотрит на раскричавшуюся дочь, может быть, благословляя в первый путь по тайге.

Мне стало не по себе от мысли, что мы навсегда расстаемся с чудесными людьми. Мы сроднились с ними за полутора суток совместного пути. У нас с ними во многом различные понятия и представления о жизни. Большая разница в культуре. Иногда бывало трудно объяснить друг с другом, и все же нас объединяли простые человеческие чувства – чувства взаимного понимания, подлинного товарищества. Они были мне близки еще и потому, что я вырос среди простых людей и с детства знал человеческое горе.

Все собрались у затухающего костра. Стадо скучилось в ожидании пути. Лангара, прищурив глаза, крепко берет меня за руку, говорит, не скрывая тревоги:

– Ты лучше бы мимо ходил, чем теперь нам думать, живые вы останетесь на Ямбуе или тоже без следа пропадете! Послушай старую Лангару: не ходит туда, зачем тебе мертвые, пойдем с нами – не пожалеешь. У мяса два дня хорошо стоять будем, надо коптить его, жир собирать, шкуры мало-мало делать, кишки, требуху чистить. От убитого зверя ничего нельзя бросать, что годится в пищу. И кровь сушить будем. Ты ел сухари из крови? Нет? Попробуешь. Их сладость язык долго не забывает... Ну как, пойдешь с нами?

– Спасибо, Лангара, но мы пойдем на Ямбуи, другой дороги у нас нет. Шли бы и вы туда, ведь вам пути не заказаны. Карарбах помог бы нам разыскать пропавших товарищей. Загрю отдам, за него не раз спасибо скажете.

– Загря хорошо, для пастухов такая собака шибко дорога, но ты не понимаешь, что говоришь. Зачем тебе Ямбуи, зачем гневить духов, и без того людям не хватает добра, горе как клещ к ним присосалось.

– Значит, отказываешься от Загри?

– Да.

– Тогда прощай, Лангара! Мы будем долго помнить нашу встречу. Пусть ваша тропа не знает больше бед и когда-нибудь встретится с нашей.

Мы обнимаемся. Соленые губы от слез были горячее материнских.

Подхожу к Карарбаху. Он, пытаясь улыбнуться, кривит высохшие губы. Тут только я заметил, какой он худой и рослый и как одинок он в своей вечной тишине. На лице старика озабоченность. Его, как и всех, беспокоит наша судьба.

Карарбах поворачивается к Лангаре, что-то ей долго объясняет. Старуха внимательно слушает, потом переводит:

– Старик говорит: у эвенков нет закона, чтобы гостя отпускать одного, когда впереди опасность. Надо бы проводить вас. Будь другое место, не этот голец, он пошел бы с вами. А на Ямбуи не пойдет. Зачем гневить духов, они злопамятные, ничего людям не прощают. Не сейчас, так после, а все равно худо сделают. Еще больше разгневаются злые духи и принесут людям горе.

– Спроси у него, Лангара, действительно ли он считает духов виновниками несчастий людей? И на Ямбуе пропали люди по их вине?

Лангара недовольна таким вопросом, но передает его старику. На лице Карарбаха недоумение. Он захватывает в руку реденькую бородку, задумывается, пристально смотрит мне в глаза, как бы пытаясь угадать, не хочу ли я посмеяться над ним, над его верованием. Потом говорит убежденно, обращаясь прямо ко мне. И тут я замечаю, что он произносит только гласные буквы и совсем забыл труднопроизносимые, вроде шипящих.

Старуха переводит.

– Тайга полна злых духов. Это они приносят людям беду. Но там, где человек знает, что к чему: как спастись от стужи, распутать след зверя, как добыть огонь, избавиться от болезни и другое, – зла от духов не бывает. Карарбах толмачит, что им многое известно, чего мы не знаем, почему приходит и уходит зима, почему люди рождаются и умирают, как

держатся звезды на небе, куда уходит душа покойного – это знают только духи. Никто не в силах бороться с ними, никто! Они сильнее всех нас...

– Человек все-таки сильнее! Скажи ему... – перебиваю я Лангару.

У Карарбаха сердито сдвинулись брови. Он ответил резко, не отрывая взгляда от меня.

– Старик тебе совет говорит: не шибко гордись, даже если станешь сильнее Харги, но этого не будет, – продолжала Лангара. – Сколько бы ты ни бил языком о кремь, огня не добудешь... Старик тоже будет мучиться, думать, как вы там на Ямбуе, и хочет, чтобы наши тропы еще раз сошлись.

Я беру в ладонь тяжелую, исполосованную шрамами руку старика с неразгибающимися пальцами. Крепко сжимаю. Другой рукою ловлю костлявую руку Лангары, и мы долго стоим молча.

– Послушай, Лангара, бросьте кочевать по этим безлюдным, неустроенным пустырям, по болотам и вечно мерзлой земле. Идите со стариком на стойбище. Вы много сделали для своего потомства, не каждому такое под силу. Пора и отдохнуть, вы этого заслужили. Пусть молодежь управляется со стадом. Когда сыновья останутся без вашей опеки, станут такими же олениводами, как и вы.

– Оборони бог! – воскликнула старуха, вырывая свою руку и отмахиваясь от меня, как от назойливого паука. – Если я отрублю себе руку, это не будет так больно, как бросить аргиш, уйти от стада. Что ты, что ты!.. Когда я один день олень не вижу – голова пустая, как бубен.

Она дико глянула на меня, будто я собираюсь лишить ее права кочевать по тайге.

– Ты хорошо подумай, Лангара, сейчас вы оба здоровы, а если старость сломит вас?

– Тут в тайге и помирать будем. Соль горькая, однако, люди не могут жить без нее...

Прощай, лючи! Нам пора.

Она крепко жмет мне руку и торопливо уходит к оленям.

Прощаюсь с Карарбахом. Он улыбается.

Мое внимание опять привлекают его ужасные, старые-престарые, загрубевшие от времени лосевые штаны. На них – латка на латке. Достая из потки свои запасные брюки, протягиваю старику. Они поношенные, но лучше лосевых.

И тут происходит неожиданное. Подходит Лангара, отбирает у Карарбаха брюки и с необыкновенной ловкостью натягивает на себя поверх широких шаровар.

– Хорошо, спасибо тебе, – невозмутимо говорит она, оглядывая себя со всех сторон.

– Но ведь это Карарбаху, Лангара...

– Мне они не плохо, – отвечает она.

Старик равнодушно смотрит на происходящее. А впрочем, это не удивительно. Все блага на земле, по представлениям эвенков, должны распределяться в зависимости от того, насколько человек в них нуждается. Вот и Лангара считает, что ей брюки нужнее нежели Карарбаху.

Меня окружают дружной толпой дети. У всех в руках колесици, винтики, пружинки от часов. Как им удалось разобрать весь механизм часов, одному Харги известно! Они все «ценности» разделили поровну. А футляр Битык повесил себе на грудь, как награду. Вид у всех довольный.

На прощанье даю каждому по куску рафинада. Сахар не всегда бывает у пастухов. Ребята тут же засовывают сахар в рот, слышно, как он хрустко лопается у них на зубах. А что же оставить на память новорожденной? Подходящего ничего нет. Вспоминаю, что у меня в потке лежит книга Константина Паустовского «Лесная поэма». Ну что ж, оставлю ее.

Пишу химическим карандашам на титульном листе: «Доре – маленькой пастушке из рода Карарбаха. Я был тем далеким гостем, в честь которого тебе дали имя. Не покидай свой край, сделай его цветущим и богатым, как того хочет твоя бабушка Лангара».

Передаю книгу Инге и прошу ее беречь, пока Дора вырастет.

Подхожу к Аннушке, раскрываю люльку, привьюченную к оленю. Нет, больной не легче и после пенициллина. Губы у девочки посинели. Дыхание еле заметно. Беру ее ручонку, пальцы холодные и тоже синие. Не выживет...

– Сулакикан, через два часа обязательно сделаешь укол и затем не забудь, надо повторять их через каждые четыре часа...

Мать ничего не ответила, но так глянула, что я долго не мог прийти в себя. Она окончательно смирилась с мыслью о смерти Аннушки и, конечно, теперь уже не верила ни в какие лекарства. Откровенно говоря, я до последней минуты ожидал другого исхода.

Бесшумными шагами ко мне подходит Лангара.

– Видишь! А ты сказал, что человек сильнее Харги. – И, прикрыв одеяльцем люльку с умирающей Аннушкой, подает знак Карарбаху трогать аргиш.

Что ей ответить, куда отвести глаза, чтобы не встречаться с обвиняющим взглядом старухи? Стою опустошенный. Жаль Аннушку...

Караван вытягивается в длинную шеренгу. Как только олень с привьюченной люлькой на спине сделал два-три шага, неумолкавший крик новорожденной прекратился, будто ребенок с нетерпением ждал этой первой минуты начала пути в жизни.

Вот он, тот самый врожденный инстинкт кочевника, что пробуждается в нем вместе с первым глотком воздуха, с первой каплей материнского молока!

С появлением на свет новорожденную окружал свежий смолистый запах хвои, дым костра, шум леса, крик тугуток, лай собак, журчание ручейка. Все это пришло к ней первым ощущением, с началом жизни и, может быть, до смерти будет сопутствовать ей.

Карарбах выводит оленей из перелеска и, взяв направление на юг, вкось пересекает марь. У него на сворке собачонка. За плечами поняжка. К ней привязан топор, чайник и серая сумка с продуктами. Старик, видимо, никогда не расстается с этим грузом. Я смотрю на удаляющегося Карарбаха и мучительно думаю: где я видел эту чуточку сгорбленную фигуру и эти уверенные шаги?..

## Глава восьмая. Его звали Куйки

Это было давно. Наша экспедиция занималась обследованием безлюдного пространства восточнее Алданского нагорья. Полтора года мы прожили там среди дикой природы. Возвращались в жилые места на плоту по Учтуру.

На всем этом длинном пути по реке стоял один эвенкийский поселок.

Мы соскучились по обыденной жизни, мечтали о бане, о картошке. Хотелось увидеть людей, их жилища, услышать девичьи голоса. Да мало ли о чем мечтает человек, возвращаясь из далеких и глухих мест.

Время тянулось медленно. Мимо и мимо проплывали незнакомые берега. Глаза давно устали искать приметы близости людей. Уже не верилось, что будет конец этим пустырям.

– Сено, глядите-ка, сено! – возбужденно крикнул Рафаил Плоткин, один из моих спутников.

На зеленой береговой полоске лежала копна сена. Дальше по кромке леса стали попадаться пни, поленницы дров, и, наконец, мы увидели коров, самых настоящих, двурогих коров, и, конечно, обрадовались, хотя коровы не проявили к нам ни малейшего интереса. Обидно, что и говорить!

Неожиданно из-за ельника встал крутой берег с нестройными рядами изб и конусами летних берестяных чумов. Нас издали заметили, и на бровку ската высыпала детвора. Дождавшись, когда плот подошел к берегу, они разом сбежали вниз к воде и помогли нам причалить к заливчику.

Мы сошли на берег, и сразу же нас окружила толпа загорелых, немых ребят. Засунув пальцы в рот, они с нескрываемым любопытством рассматривали нас лукаво искрящимися черными глазенками. Я протянул всем поочередно руку. Дети прятались друг за друга, дичились. Но стоило старшей девочке подойти ко мне, как все посмелели.

– Здравствуйте, – сказала она, безбоязненно беря мою руку. – Вы – комиссия?

– Какая комиссия? – поинтересовался я.

– Не знаю, так все говорят.

– Председатель дома?

– Айсан? Дома. Вон его изба, у обрыва. Хочешь, поведу? – охотно предложила она.

– Тебя как зовут? – спросил я смуглянку.

– Сакарды! – крикнул кто-то из толпы.

– Что это значит по-русски?

– Сахар любит, – подсказали сразу несколько голосов подступивших к нам ребят.

Девочка повернулась к ним и что-то сказала на своем языке; те разом притихли.

– А что ты хочешь сказать председателю? – продолжала допрашивать меня Сакарды.

– Скажу, чтобы он побольше тебе сахару выдавал.

Сразу послышался приглушенный смех ребят. Девочка отняла свою руку, обидевшись, сказала:

– Не надо мне его сахара, у нас свой есть.

Не угодив шуткой и желая вернуть расположение девочки, я сказал серьезно:

– Мы приехали к председателю, чтобы рассчитаться с колхозом за работу оленей.

– А, вы экспедиция! – блеснув улыбкой, сказала девочка.

– Да.

По толпе ребят прошел одобрительный шепоток.

Меня сразу подкупила Сакарды своей непринужденностью и детской откровенностью. Она подвижна и легка, как птица в полете. Ее до черна темная кожа лоснилась. Глаза с ярким

блеском смело глядели из-под густых ресниц. Черные волосы смазаны жиром и заплетены в косичку.

Мы с Плоткиным в сопровождении всей детской оравы поднялись на высокий берег. Изба председателя была новенькой, только что выстроенной, под тесовой крышей, тыльной стороной обращена к обрыву, а фасадом к маленькой площади, беспорядочно утыканной старыми летними чумами.

Сакарды подвела нас к высокому деревянному частоколу.

– Айсан, встречай, к вам люди пришли! – крикнула девочка, открывая калитку и, пропустив нас вперед, исчезла.

На веранде, за столом с кипящим самоваром, в одиночестве сидел мужчина лет сорока, пил чай. Увидев нас, он поднялся, одернул на животе рубаху, беспокойными глазами глянул на меня, потом на Плоткина, засуетился.

– Здравствуйте!.. Здравствуйте!.. Заходите, садитесь, гостям всегда рад. – И пододвинул к столу две табуретки. – Извините, что у меня такой раскордаш, жена уехала к своим в жилуху, а я, как видите, не справляюсь с домашним хозяйством, по уши утонул.

– Нам кажется повезло, к чаю угодили? – сказал Плоткин, присаживаясь к столу.

– С дороги чай не плохо. Как доехали?

– Спасибо, ничего.

Айсан достал из шкафчика чашки и стал разливать чай, не сводя с нас изучающих глаз.

Председатель был узкоплечий, небольшого роста, слегка оседал на левый бок, на хроющую ногу. Лицо у него круглое. Нижняя челюсть слегка выдвинута. Давно не стриженные волосы лохмами лежали на голове. Одет он был неопрятно, на ногах обшарпанные кирзовые сапоги. Говорил вкрадчиво, словно стесняясь.

– Куда путь держите? – спросил он, ставя перед нами чашки.

– Пока к вам, – ответил Плоткин.

Брови у председателя дрогнули, он неестественно улыбнулся, но ничего не спросил.

– Мы ведь с вами, Айсан, давно знакомы, только не виделись, – наконец-то решил я объясниться.

Он пристально глянул на меня, на Плоткина – и вдруг радостная мысль осенила его.

– Из экспедиции, что ли?!

– Да.

Председатель с облегчением опустился на скамейку.

– Ревизию обещали из района, гляжу на вас и думаю, вроде бы не похожи на ревизоров, а другим тут делать нечего, живем мы на краю земли. За нами – ни души, гнус да болото.

– Ревизию по какому случаю? – спросил я.

– Кто его знает, – ответил он приглушенным голосом. – Сколько ни старайся, сколько ни делай людям добра, все им мало, так и норовят тебе напакостить!

– Это что, эвенки вас обижают?

– А то кто же!

– Вот уж не сказал бы, добрее не встречал людей.

– Это было когда-то, – энергично запротестовал председатель. – Теперь все грамотные.

Пальца в рот не клади – враз откусят!

– Что-то вы путаете! Не знают они и малой доли людских пороков. Уж я-то посмотрелся на них за таежную жизнь.

– Кто его разберет. Может, это и не они кляузы в район пишут, а радист, – заколебался председатель и, не высказав своих мыслей, ушел в огород, принес пучок зеленого лука, несколько морковок.

На столе появился отварной картофель. Об этом мы могли только мечтать.

– Вы с устатка выпьете по маленькой? – И Айсан, не дожидаясь ответа, юркнул в избу, принес графин с водкой, рюмки.

У раскрытой калитки точно вырос из-под земли старик, длинный, худой, в эвенкийской поношенной одежке, сшитой из самодельной лосины и загрубевшей от долгой носки. Он был крепок, в том возрасте, когда человек еще надеется на себя. Во всем его облике угадывался лесной кочевник.

Старик прикрыл за собою вход, робкими шагами подошел к веранде, ощупал ногою ступеньку, не торопясь, поднялся на не. Дальше не пошел. Прислонившись плечом к стене и сложив на животе натруженные руки, он оглянулся. Его не удивило присутствие незнакомых людей. Лицо у старика бесцветное, сухое, как камень, исполосованное лиловыми рубцами, было спокойно. Казалось, ударь сейчас по хате гроза – и он не пошевелится.

Старик смотрел на председателя доверчивыми, совсем детскими глазами, не знавшими ни лукавства, ни лжи. В них он был весь и вся его, как видно, нелегкая жизнь.

Айсан делал вид, что не замечает старика, продолжал пить чай.

Эвенк молчал. Стоял неподвижно, древний и крепкий, как столетний дуб.

– Айсан, старик, видно к вам пришел. Отпустите его или посадите за стол, нам неудобно перед ним.

Председатель нехотя повернулся к эвенку.

– Ты опять пришел, Куйки<sup>14</sup>! Сказал, не ходи, не могу разрешить.

Старик то ли не понял председателя, то ли другого ответа и не ожидал, продолжал стоять неподвижно.

– Чего дедушка хочет? – поинтересовался Плоткин.

– Он пастух, живет при стаде, приехал проведать больную дочь, просит разрешить отрезать у оленя, на котором приехал, кусочек рога.

– Зачем он ему?

– Оленьи рога летом мягкие, хрящеватые, для эвенка лакомство, а я ему говорю: пойдди к завхозу, возьми свежего оленьего мяса, на что лучше! А он, вишь, уперся: разреши – и баста!

Старик вдруг выпрямился, весь вспыхнул, но в гневе, что ли, не мог разжать челюсти, промышчал что-то непонятное, сошел на землю, еще раз глянул на председателя и поспешно скрылся за частоколом.

Всем стало неловко. Айсан громко фыркнул, отпивая из стакана горячий чай.

С минуту молчали.

– Сколько у вас оленей? – любопытствовал я.

– За пять тысяч перевалило.

– Может, не следовало обижать старого человека? – осторожно поинтересовался я.

– Оно конечно, рог ничего не стоит, но мы на правлении порешили запретить резать рога. Вот я и отказал. Постановление надо выполнять.

– Безусловно, – перебил я его. – Но в данном случае в виде исключения надо уважить пастуха. Он ведь в тайге еще живет по старинке, может не понять, почему не даете ему рог, если он ел его всю жизнь. С этим надо считаться.

– Тут только попусти вожжи, потом ничего не соберешь, а за все я в ответе.

Председатель дрожащей рукою разлил по рюмкам водку, подsunул поближе к нам картошку. Но тут запахнулась калитка, Куйки вел за руку Сакарды. Они оба поднялись на веранду. Старик поставил девочку перед собой и, показывая рукой на председателя, стал с жаром что-то объяснять ей и для убедительности энергично жестикулировать руками.

---

<sup>14</sup> Куйки – глухой. У эвенков помимо имен давались еще и прозвища. Эти прозвища могли меняться на протяжении всей жизни.

Сакарды повернулась к нам.

– Куйки говорит, что его больная дочь Уля много дней ничего не ела, теперь умирает, просит сварить маленький кусочек рога. – Девочка показывает край пальца. – Дедушка хочет это сделать, у эвенков нет закона отказывать умирающему. В его стаде много оленей, но он не может отрезать рог без твоего согласия даже для умирающей дочери. – Тут ее голос падает, дрожит. – Пожалуйста, Айсан, разреши! Пусть отрежет!..

– Скажи ему, что я не могу сам отменить постановление правления. Вечером соберу людей и решим.

– Нет! – перебивает его Сакарды, машет ручонками, говорит торопливо. – Это долго ждать, а Уля умирает!.. Разреши маленький кусочек!..

Куйки опускает голову, ждет, когда Сакарды переведет слова председателя, еще на что-то надеется, но девочка молчит, не смотрит ему в глаза, ей неловко за всех нас.

На веранде гробовая тишина. Только комар пел печально и долго.

Порыжели конусы чумов, на лиственницах вспыхнули алые пятна. Дым вечерних костров, лай собак, крик детей уходили в безмятежное небо.

У старика неожиданно вытянулось лицо, какое-то время он не сводил с председателя своего взгляда, все еще ждал. Потом вдруг понял всю тщетность надежды, стал пятиться задом, сошел со ступеньки на землю, помог сойти девочке, повернулся и отяжелевшими шагами подошел к калитке. Хотел открыть ее, но только успел схватиться за нее руками, чтобы не упасть. Частокол дрогнул, и долго вместе с ним дрожали плечи у старого эвенка.

Сакарды стояла рядом, лицом к нам; и было непростительно стыдно перед ней, еще не понимающей, почему порой люди делают друг другу так больно.

– Не могу... Не могу... – как бы оправдываясь перед ее детским взглядом, бешено протестовал Айсан. – Постановление есть постановление.

– Уж уважьте старика, случай-то какой! – заговорил, еле сдерживая себя, Плоткин. – Не можете разрешить отрезать кусок рога, подарите ему всего оленя. А уж он сам распорядится, как нужно, и в долгу не останется. Так и постановление не будет нарушено и не оскорбите человеческих чувств.

Куйки продолжал стоять, прислонившись к частоколу. Мимо бежали женщины, что-то кричали по-эвенкийски. И какая-то тревога, тяжелая, неодолимая, нависла над поселком.

Председатель медлил, ерзал на табуретке, глотал слюну и с трудом выдавил из себя:

– Сакарды, скажи ему, пусть отрежет...

Девочка глядела на него удивленными глазами, точно не понимая, о чем говорит председатель. Теперь и старик повернулся к нам. Лицо его по-прежнему спокойно, даже холодно. Впалые глаза полны горечи. Откинув назад руки, он держался ими за частокол, вытянувшийся, худой и как будто вдруг постаревший. Сакарды стояла рядом молча. Потом вдруг заговорила сердито:

– Не надо... Слышал, люди сказали: Уля умерла.

Стало тихо. Ни одного живого звука, точно все люди ожидали, пока душа умершей не покинет грешную землю.

Старик ничего не сказал, даже не упрекнул председателя. Все принял как должное.

Сакарды открыла калитку, взяла его за руку, вывела за частокол, и где-то в улочке стихли их торопливые шаги.

Догорал закат, не осталось на лиственницах алых пятен, таяли контуры изб. Сумрак накрывал поселок эвенков. У обрыва играла загорелая детвора в добрых и злых духов.

На столе так и остались стоять рюмки с водкой, отварная картошка и зеленый, пахнущий свежей землей лук.

Айсан, скрестив на груди руки и облокотившись на край стола, смотрел мимо меня на старые берестяные чумы, уходящие в тревожную ночь.

И вдруг сквозь густой вечерний сумрак донесся долгий плач.

– А я ведь, видит бог, как лучше им хочу! – сказал председатель, опорожня рюмку.

– Удивляюсь, Айсан, вы хотя и не эвенк, но коренной северянин, почему так неуважительно отнеслись к горю старика... Нечего вам здесь делать, уезжайте отсюда, – сказал Плоткин, вставая из-за стола. – И вам и жителям стойбища будет легче.

Председатель вдруг размяк, уронив голову; он сидел подавленный и страшно одинокий.

– Тут нужен другой человек, который бы умел понимать этих людей и ни при каких обстоятельствах не терял человеческого достоинства, – добавил Плоткин.

– Да, да, уеду, непременно уеду. И замена есть из них же, кончил институт, ему и вожжи в руки!

– Айсан, можно получить счет за работу оленей? – спросил я. – Нам пора.

– Мы не задержим...

Он устало поднялся, опираясь на край стола.

За частоколом послышались тяжелые шаги. Из сумрачной тишины вышел Куйки. За спиной у него поняжка, с топором, чайником и узелком, в котором, вероятно, была завернута дорожная лепешка. На левом плече висела старенькая бердана. В руках посох. Рядом на сворке бежала худущая, изъеденная мошкой собачонка. Он прошел мимо нас вдоль изгороди неровной, сбивчивой походкой. За первой избой свернул вправо и стал подниматься по склону к уже потемневшему лесу. Не оглянулся на поселок, где осталось его брошенное горе.

Через несколько минут его следом в темноту бежала Сакарды, и мы долго слышали ее удаляющийся крик:

– Куйки!.. Куйки!.. Куйки!..

## Глава девятая. Таинственный Ямбуй

Все это я вспомнил, когда уже нас с Карарбахом разделили корявые дебри да топи, прикрытые увядшей травой.

С непростительным опозданием я подумал и о том, что надо было вернуть подаренный Битьком за Аннушку лук, зачем он мне, но разве догонишь! Остался только след от стада оленей, даже крика тугуток уже не было слышно.

Вряд ли когда-нибудь еще мы встретимся с этими пастухами. Но два дня, проведенные вместе с ними, мне никогда не забыть, и из памяти не исчезнут образы Карарбаха и Лангары, этих последних из кочующих эвенков. Они, сами того не замечая, в своем духовном развитии уже переросли и древний быт и злых духов, некогда представлявшихся им всемогущими. Но им все же страшно уйти от прошлого и в то же время им близко и новое. Они как лодка без причала на волне.

– Пошли, вишь, как высоко солнце, – говорит Павел, притаптывая сапогом окуроч.

Наш путь по-прежнему идет на юго-восток мимо болот, холмов, через низкие водоразделы, по печальной тайге.

С синего неба на наш маленький караван льется яркий свет щедрого солнца. Долбачи, выступая с оленями впереди, шагает уверенно. Ему достаточно с утра взять нужное направление, и уже до конца дня он с него не сойдет. Как живая буссоль. С таким проводником легко ходить по тайге, и теперь я уже не думаю, как вначале: «А туда ли мы идем?»

Загря у меня на поводке. Он идет понуро, не забегает вперед, не натягивает ремешка, не замечает крика испуганных караваном птиц, писка бурундуков, часто попадающихся нам на глаза, и совсем не нюхает, как обычно, воздух – обиделся. Ох, как не нравится ему, что я веду его на ремешке!

Нас сопровождает все тот же знакомый пейзаж: кочки по болотам, точно цветочные горшки с поникшим черноголовником, кривые березки по закрайкам марей и лысые от давнишнего пожара бугры. Ни цветов, ни травянистых полян – только россыпи, мхи да лишайники, редко увидишь кустик пырея, и то разве у ручья или на старой гари заросли ярко-красного кипрея. От этого однообразия путь кажется нескончаемо длинным.

За перевалом мы наткнулись на плотный туман; точно снежная лавина, он лежал на дне глубокой пади. Солнце прижимало его к земле, боковые отроги отрезали ему путь к отступлению. Кое-где сквозь пелену торчали голые макушки холмов да вершины одиноких лиственниц. Мы вошли в серый непроницаемый сумрак, в сырую тишину. Шаги каравана заглохли.

За широкой марью виднеется плотная синева высокоствольного леса. Он спустился со склонов гор, пытаясь отобрать у нагорья свободную землю, но наткнулся на неуступчивые мари, на бугры вечной мерзлоты и встал над ними стеною, так ни на шаг и не продвинувшись дальше.

Вскоре с чувством невольной робости мы вступили в пределы этого леса, настоящую первобытную тайгу. И как только оказались под сводом могучих деревьев, как только почувствовали запах прели, папоротников, коры и влажных мхов, все облегченно вздохнули. После стольких дней пути по марям высокоствольная тайга бесконечно обрадовала нас.

Как я привязан к тебе, лес, как люблю твою горделивую тишину, непокорность урагану, вечную таинственность! Знаю, ты не ласков, угрюм. Я всегда скучаю по тебе. Так прими же нас, непутевых детей твоих, в свои Зеленые Чертоги!

Нас окружают молчаливые лесные дебри, чащи малолетних деревьев, поднявшихся над могилой упавших великанов, и длинные седые космы лишайников, свисающие гирляндами с еловых сучьев. Яркие полосы солнечных лучей, пробившись сквозь кровлю деревьев,

рассеивают плотный сумрак, и лес, окутанный этим серебристым светом, кажется еще более величественным. И как мы ни привыкли в своих скитаниях к контрастам природы, ко всяким неожиданностям, все же лес, настоящий большой лес, каждый раз по-новому и все с большей и большей силой захватывает нас. Наверное, потому, что его никогда не познать человеку, не разгадать печальных дум леса в тихие летние ночи, его безумство в зимние бури, его безнадежную грусть в листопад. Может быть, именно в этой непостижимости леса таится его притягательная сила?

Только он, лес, умеет обласкать загрубевшие в походах сердца путников, вернуть им силы, разбудить в человеке нежность, мечту, принести ему ощущение радости жизни, иногда утраченное в борьбе с трудностями. Он умеет снять с плеч усталость, сделать людские шаги мягкими, а мысли легкими, умеет воскресить детство, снова превратить тебя в мальчишку... И самое главное – человек, попавший в настоящий большой лес, выходит из него как бы обновленным, светлым, добрым.

Долбачи прокладывает путь. Молодые деревья как бы расступаются перед ним – так ловко он владеет пальмою, прорубая чашу. То тут, то там изредка вспорхнет вспугнутая нами птица или зацокает белка.

Всюду перед нами густая поросль. Совсем молодые деревья растут чрезвычайно плотно, постарше – несколько разреженнее, а еще постарше – более редко. Здесь деревья принуждены вступать в жестокую борьбу друг с другом за место, за почву, за солнце. Вырастают только сильные, но и их дальнейшее существование не так уж завидно.

В большом лесу молодому дереву удается иногда утвердиться лишь на месте отживших свой век или сваленных ураганом деревьев. Вот тонкая, стройная лиственница, как будто одолевшая в борьбе всех соседей. На ее высоком, гладком стволе ни единой веточки, только одна макушка зеленая. Все пошло в рост – любой ценой надо было достигнуть кровли леса, пробиться к солнцу. Но старшие деревья, чьи кроны образуют свод, не очень-то гостеприимны к своему потомству, они никого не пропускают выше. И эту стройную лиственницу тоже ждет удел сверстниц: вряд ли ей справиться с могучей кровлей, закрывшей небо.

День на редкость жаркий. После вчерашнего дождя и холодной ночи в лучах солнца вспыхнули кострами березовые перелески. В легкий пурпур оделись мари. На болота легла осенняя желтизна. Ни песен, ни писка, ни крика, ничего не слышно вокруг. Птицы, грызуны куда-то озабоченно спешат – все заняты последним приготовлением к зиме. Эти осенние дни для всех полны заботы, и, видимо, по законам леса в это время непристойно нападать друг на друга, пугать и даже резвиться. Для всех обитателей нагорья наступила пора как бы всеобщего примирения. Но это только видимость. И в осенней тишине идет непрерывная борьба за существование, в которой слабые гибнут.

Лес кончился. За ним опять лысая земля.

На востоке, за макушками деревьев, в мутном крае неба растворился горизонт. Ветерок нет-нет да и набросит оттуда запах дыма. Осенью, как никогда, в лесу надо быть осторожным с огнем. Осень – время лесных пожаров.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.